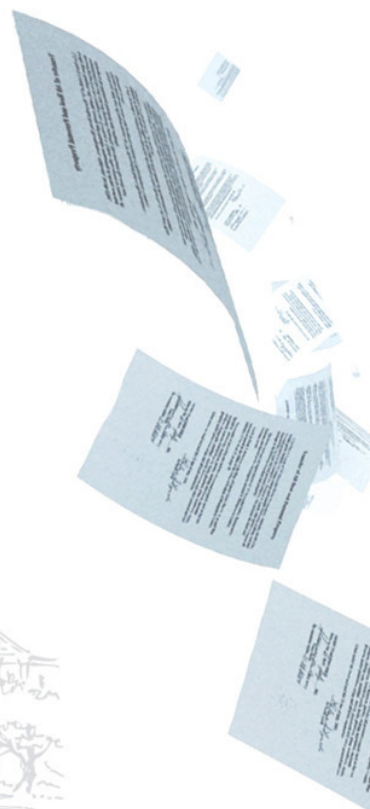


М. Веллер

ОГОНЬ И АГОНИЯ



Михаил Веллер

Огонь и агония

«АСТ»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

Веллер М. И.

Огонь и агония / М. И. Веллер — «АСТ», 2018

ISBN 978-5-17-108858-3

Новая книга Михаила Веллера – ироничная по форме и скандальная по существу – о том, почему классика уродует сознание интеллигенции, как пили шампанское герои золотого периода советской культуры, где найти правду о войне и кто такой великий русский поэт Владимир Высоцкий.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-108858-3

© Веллер М. И., 2018
© АСТ, 2018

Содержание

Русская классика как яд национальной депрессии	6
Золотые шестидесятые	28
Братья Стругацкие на фоне конца света	49
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Михаил Веллер

Огонь и агония

© М. Веллер, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Русская классика как яд национальной депрессии

Аглавный вопрос литературы: как вообще жить? Если справедливости нет, а счастья хочется? Читать книги – зачем: стать умным и бедным?

Я был зван на совещание по проблемам русской литературы в школе: плохо знают, мало хотят, как поднять интерес, втиснуть все в программу... Тогда у меня впервые и возник этот вопрос, вернее – вдруг сформулировался: а с кого подростку брать пример из героев русской классики? Кому подражать? Чему его эта классика учит? Строго-то говоря? К чему его призывают шедевры великой русской литературы? Они ему жить хоть как-то помогают? Лучше делают? Лишние люди Онегин и Печорин? Убийца Раскольников? Изменившая мужу и бросившаяся под поезд Анна Каренина? Они его чему учат? Какой, простите, пример подают? В школе-то я такие вопросы и вообразить себе не мог, думать даже не смел... И тогда – вопрос ужасный как следствие, недопустимый, кощунственный просто вопрос: а что ему русская классическая литература дает? Она ему на кой черт нужна? Чем интересна? Он вот для себя, для своей жизни, по своим интересам – что там может почерпнуть?

Или, возможно, язык Достоевского способствует формированию эстетического вкуса подростка? Или образ Николая Ростова учит правильно обращаться с крепостными мужиками? О: образ Обломова как пример целеустремленности и силы воли русского человека. Чем не тема для сочинения?

Дорогие мои, с такой точки зрения школьная программа русской классической литературы есть злостная воспитательная диверсия! Пессимизм, критиканство, несправедливость, кругом несчастья – да что это за жизнь такая?! Чему тут учиться – каким не надо быть?

Дискуссия развернулась какая-то непринужденная, я бы сказал, и непредусмотренная, и что поразительно: все товарищи учителя сказали, что да, связей с современностью, с сегодняшней жизнью, в школьном курсе классики не просматривается. Просматривается. Но мало. И не так. И – да! – очень не хватает положительных примеров. И ветераны с ностальгией вспомнили «Как закалялась сталь», «Повесть о настоящем человеке» и «Молодую гвардию». Уже советские.

Знание и почитание русской классики как элемент групповой культурной самоидентификации – это понятно. Иметь представление о вершинах, шедеврах, о величии национальной русской культуры – понятно. Но! Тогда ведь достаточно просто знать: Пушкин наше все, Толстой и Достоевский мировые гении, с Чехова начался новый мировой театр, и во всем мире величие наших гениев признают и не оспаривают. О'кей! Мы круче всех, это предмет нашей национальной гордости! Но? А читать-то эту допотопную скукотищу на хрена?! Мы же и так за, мы же не спорим!

Если честно, я сам так удивился такому повороту вопроса, что еще долго удивлялся. Это как красавица под неожиданным ракурсом: непривычное зрелище, но впечатление незабываемое.

Понять, конечно, можно. Нам уже двести лет историю преподавали как? То есть: нам в зеркало какими нас показывали? Ибо история народа – это коллективный портрет во времени, это общая биография как проявление сущности, натуры.

Изначальной литературой была «Повесть временных лет»: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет; придите княжить и володеть нами». IX век! Вот такая самохарактеристика. Первое литературное произведение – и уже упадок национальной бодрости и веры в себя.

То есть изначально правила норманны, они с дружинами были военно-административным сословием, а славяне и финно-угры – смерды, чернь, податное сословие, а поймают и свезут в Царьград на рынок – так вообще рабы на продажу.

А вот и первое произведение светской литературы – «Слово о полку Игореве». Лирическое и прекрасное, но выступил князь... как бы это... непобедно. Поход не продумал, взаимодействие с другими не наладил, приметами скверного исхода пренебрег, был разбит, попал в плен, слава Богу бежал, молодая жена дождалась – вот и праздник: жив остался. Погибших много, вернувшихся вроде и нет даже, но об этом умалчивается. История трагическая, но на подобные подвиги не вдохновляет.

Потом пришли монголы и, согласно многовековой официальной версии, было татаро-монгольское иго. Страдали под гнетом. Победили их в Куликовской битве. (Битва непростая: на месте побоища никаких следов археологи не нашли, а вообще места никто толком не знает.) Потом еще сто лет иго продолжалось, но через сто лет все же рухнуло. (Про то, что Орду сокрушил Темерлан, после чего она и не поднялась – школьникам не говорили.)

Потом был сумасшедший садист Иван Грозный, изобретавший невиданные доселе пытки и казни, от коих никто в любой миг не был застрахован – вины не требовалось, достаточно было желания государя. (При нем же были уничтожены или переписаны библиотеки, отредактирована история.)

Потом прошла исполненная всеобщих предательств и резни Смута.

Потом – Великий Петр, слово его было законом.

Вопрос: ну, и какие тут условия для возникновения оптимистической, жизнеутверждающей литературы? Да вся допетровская литература, дошедшая до наших времен, была столь ничтожна числом и объемом, так это включая церковную, с житиями святых, с летописями; «Поучение» Владимира Мономаха, «Моление» Даниила Заточника, «Слово о гибели земли Русской» и «Житие Протопопа Аввакума»... «Повесть о Петре и Февронии». А строго говоря, литература светская появилась на Руси, ставшей Россией и Российской Империей, тогда же, когда наука, образование, кораблестроение и так далее: волею императора Петра.

Вот условно с 1700 года мы можем говорить о русской литературе. Но говорить можем, а литературы еще все равно не было. Ее живая жизнь проявилась только в середине века: Иван Барков. Чтение веселое, но на фоне нынешней порнографии может привлечь подростка только как экскурс в фольклор – касание родной истории, так сказать, на уровне словесности. Однако школа всегда считала Баркова непедagogичным и преподавать отказывалась категорически. А ведь его стихи, ну и поэма известная, очень даже могла бы приохотить школьника к родной литературе, причем еще XVIII века! И жизненного оптимизма ему прибавить, жизненной активности, да и дать почувствовать близость к родной поэзии! Но – не судьба; понимаем...

И лишь к концу века появляются Фонвизин, Радищев и Державин. Читать язык Радищева сейчас школьнику решительно невозможно, что касается рабства, то бишь крепостного права – он и так против, а с царизмом полный непротык: последний император признан святым, история России – гармоничной и единой, осуждение зверств царизма уже не в моде и не в тренде – отстаньте от детей! Про Державина достаточно знать, что сходя в гроб он благословил Пушкина. «Недоросль» же фон Визена сочинение бесспорно достойное и смешное, но за два с половиной века язык русский изменился настолько, что для изучения именно в школе это сочинение, никогда не объявлявшееся шедевром стиля или устоем языкового канона, невредно было бы несколько адаптировать стилистически, что ли, переложить на язык более удобоваримый сегодня.

Сатиру мы уважаем, старик Скотинин прекрасен, не только учиться, но и жениться сегодня отроки (и отроковицы) желают отнюдь не всегда, эмансипация, – но все-таки образ болвана вряд ли есть образец для подражания, да? Не вдохновляет.

Литература века XVIII сегодня, как и тем более древнерусская – это музей литературы. Это можно и нужно хранить и изучать – но отнюдь не школьникам. Они могут иметь краткие сведения о вершинах и шедеврах? Допустим, это невредно. Но с точки зрения литературы, ее воздействия воспитательного, эстетического, просветительского – это балласт, груз мертвый,

хранимая в Википедии пассивная информация. Сейчас так не говорят, не пишут, и проблемы конкретно другие, и весь мир другой.

Но начали мы с этого всего, упомянули все вышеперечисленное – совершенно не зря. Ибо вся предшествующая литература дает представление о характере народном, о русском национальном характере, о мировоззрении народа, о представлении культурной элиты народа о своей стране и истории, о том, на что страна и народ способны, каков человек, чего он хочет и что может.

Богатырь Пересвет, негнибемый протопоп Аввакум, влюбленные Петр и Феврония – как-то растворяются в густой специфике древних времен, в трудной уже архаичной стилистике, в лаконичном и лапидарном древнерусском изложении. Образы прекрасны – но музейны уже давно, понимаете...

И вот появляется кто? – Карамзин! Великая фигура русской словесности!

Он фактически реформирует русский язык – создавая язык литературный, новый, закладывая наш язык современный. Отказывается от массы рудиментов церковнославянского, отказывается от тяжеловесных, неудобоваримых форм немецкой грамматики, от германской лексики, вошедших в русский язык с реформой петровской. И переводит русский на рельсы просторечно-разговорные и французские. Легкость фразы, изящное интонирование, все эти точки с запятой, которые и поныне невозможно теоретически аргументировать с точки зрения академической русской грамматики.

Да никто не ввел в русский язык столько новых слов, сколько Карамзин! «Влюбленность», «вольнодумство», «человечный», «первоклассный» и еще многие десятки слов – это все Карамзин! Это он – или скалькировал с французского, или ввел из просторечий, как «кучер», или вообще придумал!

Он посетил Европу в дни роковые Великой Французской революции и написал «Письма русского путешественника» – с него начался сентиментализм в русской литературе, с него начался и жанр путевых дневников в ней.

Он издал многотомную «Историю государства российского» – и свою историю впервые стало как-то связно знать хотя бы образованное сословие. Да он впервые русскую историю объемно и внятно обобщил, впервые создал общий ее курс!

Он писал стихи – впервые в русской поэзии легкие, мелодичные, лиричные – после тяжеловесных строф Державина и Тредиаковского. Он писал повести, он редактировал журналы!

И остался в нашей памяти, в преподаваемой литературе – прежде всего «Бедной Лизой», которая несчастно влюбилась и утопилась...

Не будем поминать сейчас долго «Страдания юного Вертера», прогремевшие в Европе (также в читающей России) пятнадцать (двадцать?) годами ранее. Да, Лиза – родная русская сестра Вертера, родство и вторичность, подражательность которой, как и всего русского сентиментализма относительно немецкого – бесспорна. Но! Карамзин был фигурой огромной, мощнейшей, недаром увековечен на памятнике «Тысячелетие России». Почему же русский вкус, склонность, традиция, что угодно там еще – склонились именно к «Бедной Лизе» как образцу его творчества, как к тому, что надо знать школьнику?!

Вы меня простите за плебейское кощунство, но тому, кто именно внедрил несчастную Лизу к обязательному школьному изучению – мощный умелый адвокат вкатил бы здорове-еннейший иск: за склонение неокрепших подростков к суицидальному настроению. К пессимизму и мыслям о суициде. Да ведь это – попытка разрушить душевное здоровье подростка, в конце концов! Вульгарно звучит? Вульгарно. Но! А ничего более жизнеутверждающего вы у Карамзина не нашли?

Да чтоб вы все сгорели – именно школьникам нужны прежде всего книжки с хорошим концом! Их еще жизнь будет лупить по голове и всем нежным местам до самой до могилы – им прежде всего необходимо умение выстоять, иметь цель и добиться ее, им нужна вера в

свои силы, и еще – в них необходимо вдохнуть веру в то, что люди – в общем хорошие, не гады, не обманщики и воры, а если есть порок – он должен быть наказуем! Порок должен быть жестоко наказан – любой ценой, добродетель должна торжествовать, справедливость должна быть установлена!

Можете ржать сколько угодно, и никто не призывает воспитывать дебилов – но: вы со статистикой подростковых самоубийств в России знакомы? Почему Голливуд воспитывает человека в духе: ты должен творить справедливость своей собственной рукой, ты должен быть сильным и карать зло – а мы учим детей «Бедной Лизе»? А в результате – бедная страна! Бежать и утопиться – нас опять обманул нехороший дядя!.. Разворованная, согнутая в бараний рог бандитами, с забитым народом – вы на чью мельницу воду льете, товарищи преподаватели? Страданий нам и без Лизы выше крыши.

Вот Жуковский, Василий Андреевич. Основоположник русского романтизма в поэзии. Учитель императрицы, наставник цесаревича. Автор государственного гимна, на минуточку: «Боже, царя храни». Да, текст небогатый – но Империя слушала стоя, черт возьми!

Поэт замечательный, автор прославленных баллад и сказок, ввел новые размеры в русскую поэзию. Н-но – для школы как-то не очень. Да и не в школе дело – в нашем представлении о табели о рангах русской классической литературы – да, хорош, но – ряд не первый.

Однако при жизни, современниками – именно Жуковский был Номером Первым русской поэзии! А Вторым – Крылов. Иван Андреевич же. Басни. Даром что Лафонтен в основе и Эзоп часто в первооснове. Но – легко, доходчиво, остроумно, интересно, мастерски сколочено, а глубокомысленно как! – современники были в восторге.

Одно в этих баснях плохо – не могу вообразить нынешнего школьника, которому это интересно. Мы их – в середине XX века! – зубрили как повинность, с легкой профессиональной тоской школяров.

Однако. Вот был Фаддей Булгарин. Ну, ругался с Пушкиным – так ведь это не приговор суда, Пушкин вообще много с кем ругался, одних дуэлей двадцать три. Что доносы писал – клевета и бред, давно доказано. Вот этот Булгарин, сейчас только одно о нем помянем – написал знаменитейший роман «Иван Выжигин». Тираж небывалый – более 10 000 (для сравнения – у Пушкина было 1000). Первый русский роман вообще! Он же – первый русский плутовской роман, он же роман нравов, роман бытоописательный, написан легко. Переведен тут же на восемь европейских языков – такое с русской книгой было впервые! Критика была блестящая. (Ну – он еще как бы наш Жиль Блаз, но уже и Чарльз Диккенс, – это чтоб не читавшие – а его сегодня никто не читал – могли составить себе какое-то представление.) (Здесь мало преувеличения.)

Герой с самого низа проходит через массу испытаний и занимает приличное место в жизни. Характер народный – выносливый, сметливый, стойкий, оптимистичный. Конец хороший. Автор – фигура крупнейшая, любимая читателем, уважаемая властью, знаемая всей грамотной публикой, разбогатевшая на гонорах и рекламе от своей газеты.

Фигу вам! Не будем мы это читать, и знать, и помнить не будем. Не нужны нам такие удачники из тертых-битых мальчишек. Вычеркнули Булгарина потомки, переписали историю.

Ладно. Вот Михаил Загоскин, «русский Вальтер Скотт», как называли его современники. Роман «Юрий Милославский, или русские в 1612 году». Оглушительный успех, огромные тиражи, всероссийская слава. Он на радостях следом написал «Рославлев, или Русские в 1812 году». Опять успех, масса переизданий. Вот кто не верит – прочитайте: вполне сносная и сейчас даже книжка.

Что интересно: и «Иван Выжигин», и «Юрий Милославский» вышли в 1829 году; «Евгений Онегин» в 1831 целиком, и прозвучал гораздо тише. Но диспетчеры литературы, литературоведы, критики и журналисты, историю несколько перекроили. И вместе с водой выплеснули позитивного героя. И наше нынешнее представление о русской литературе первой трети

XIX века имеет весьма мало общего с рельефом и пейзажем родной литературы, который имел место в действительности и среди которого проживали читатели и современники.

Возникает такое ощущение, что русские литературоведы-потомки ненавидят героев, ненавидят сильную личность в принципе, им ненавистен оптимизм, они проповедуют страдание и бессмыслицу. И как только торчит гордая голова над серой гладью родной истории – ее этэс по маковке! бульк! и все опять ровненько – все страдают.

Возможно, в русский психотип действительно заложена потребность страдать?..

...И вот появляется гений истинный, загадочный, блестящий – Александр Сергеевич Первый. Грибоедов. «Горе от ума». Чацкий.

Вот он – Чацкий: первый Лишний Человек в русской литературе! Грибоедов ум имел едкий и тонкий. «Общество» и «общественное мнение» не презирал – он просто легко издевался над ним, воспринимая «свет» как зоопарк. Что не мешало сверкать в свете, крутить скандальные романы, иметь хорошие отношения едва ли не со всеми литературными кучками и группировками и вызывать зависть головокружительным восхождением карьеры.

Чацкий – лучше всех. Умнее, просвещеннее, благороднее. Верен идеалам и порывам юности, юношеской дружбе, юношеской любви. Ну, и что ему делать среди реальных людей, их жизней и взаимоотношений? В этот мир он не вписывается – слишком высоки требования, идеален он. А переделать этот мир – ну-у, таких и мыслей нет. Хемингуэевский подтекст? Его время наступит через сто лет. Чацкий как скрытый будущий декабрист? Знаете – это тоже был бы интересный современный спектакль: Чацкий – революционер. Или ученый, путешественник, гомосексуалист; психосадист, мучающий людей воспоминаниями о невозможном счастье, педофил, не могущий смириться с тем, что девочка Софья повзрослела. О, для современного режиссера здесь раздолье!

Но факт высится в русской литературе незыблемо, как скала посреди пролива: первая крупная и знаковая фигура в нашей классической литературе – Лишний Человек.

Нечего делать в этой стране людям умным, принципиальным, благородным, жаждущим честно служить пользе Отечества. Осмеют и изгонят. Милый вывод, а? Очень вдохновляет на подвиги во славу Родины.

Пушкин так и написал: «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом». И Гога, великий Товстоногов, вывесил эти слова эпитафией к своему гениальному спектаклю «Горе от ума»: черные летящие строчки на белом прямоугольнике в верхнем правом углу зеленого, закрытого еще, занавеса. Через пять спектаклей эпитафия приказали снять!..

Да, так вот и Пушкин. Н-ну-с?

1830 год, напечатаны «Повести Белкина», гениальная короткая проза. Вершина – «Станционный смотритель» – умер бедный старик, разбитый бегством дочери с офицером. Внимание: вот он – первый Маленький Человек в русской литературе.

(Простите – невольная мысль, навеянная современными нравами. Гендерные отношения в русской классической литературе правильные, прогрессивные: Первой была бедная девушка Лиза, которая утопилась в пруду, а уже Вторым Лишним Человеком был мужчина, станционный смотритель. И! И! Возможно, когда старик был юн – по реальному календарю, кстати, это около сорока лет назад – как сходится время! – если бы он женился на юной бедной Лизе – что за союз, что за несчастья обрушились бы на их головы!.. М-да, они и так обрушились. Если человеку суждено стать несчастным – Господь найдет способ непредсказуемый.)

А вот и лишний Сильвио: угробил свою жизнь ради ответного выстрела и сгинул.

А вот и потрясающий и гениальный «Медный всадник», мудрый, трагический и беспощадный. Евгений – получите образ героя. Маленький человек, уничтоженный стихией Великой Империи.

А вот стойкий и благородный Дубровский, сгинувший неудачник.

Но была ведь и «Метель», и «Барышня-крестьянка», и стойкий винтик Империи маленький офицерик Петруша Гринев – конец хороший, свадьба и так далее. Но ни фи́га – высится надо всеми гигантская фигура Евгения Онегина.

Литературные достоинства и резоны прекрасны и понятны. Это уже антисентиментализм, антиромантизм, антисюжетность, антиприключенчество – недаром Пушкин любил Стерна. Для своего времени «Онегин» – это даже модернизм, отказ от канонов, циничная пародия на романтизм в письме Ленского, изложение стихами того, что до этого в поэзии не мыслилось: то есть тут нет ничего поэтического с тогдашней точки зрения, в тогдашней традиции, в тогдашнем представлении о сущности поэзии. Это был наглый эстетический бунт! И герой – не героический, не байронический гордый и отверженный одиночка разочарованный во всем – а благополучный разгильдяй, которому в жизни просто делать нечего.

О'кей, мы все понимаем. Но на фи́га нам нужен по жизни сей никчемушник, трутень, циник и раздолбай? Он страдает? Это нам, знающим о колымских концлагерях, подвалах Лубянки, нищете колхозников, говорят об его страданиях?! Нам бы его проблемы, с его-то доходами, здоровьем и внешностью. Это обвинение обществу тому? Нас от своего-то общества тошнит, нам бы своих наследничков богатых дядей перевешать с конфискацией, нам о своей стране думать надо, как выжить дальше, как самому-то жить на зарплату, в частности!

Чему может научить Евгений Онегин? Что он может дать, передать, вселить в читателя хорошего, сделать его умнее и лучше, помочь жить как-то? Что надо иметь много денег, никаких обязанностей, метко стрелять, троллить друзей и влюблять в себя девушек? Знаете, для этого есть куча литературы специальной.

Значит – для понятности. На художественный уровень «Евгения Онегина» я не замахиваюсь ни разу – я восхищаюсь. Это сейчас. А в школе ни фи́га не восхищался. До фени было. В школе мы читали Евтушенко и Вознесенского, Багрицкого и Симонова мы читали.

Но что касается уровня идейного Евгения Онегина как одного из центральных героев русской классики – ладно, мне до фонаря, я человек уже устоявшийся, для меня он – экзерсис поэта, музейный персонаж, штрих юного образования. Но вот то, что Лишний Человек – сидит на троне русской литературы! – вот это симптоматично. Заставляет задуматься.

Если литература отражает жизнь – жизнь наша какая-то вывихнутая, и представление о ней вывихнутое, и идеал не то треснул, как зеркало, не то помялся, как пончик.

Пушкин был таки да великий русский гений, и вот великая «Сказка о рыбаке и рыбке»: нет сил вылезти из нищеты, подвалит чудо, выловишь ее, золотую, и голова кругом, разинешь рот шире возможного – и не быть старухе ни столбовою дворянкой, ни царицей, ни уж тем более владычицей морскою, а сидеть вечно развалиной у разбитого корыта, доживая век свой в воспоминаниях о былом величии и собственной незадачливости. Да это аллегория всей истории русской, всей жизни нашей многострадальной...

А вот и Лермонтов, а вот и Печорин!

Прекрасный «Маскарад» – профессиональный игрок Арбенин, катала то есть, на сегоднешнем новоязе, приклатненной фене, приревновал жену и отравил, а после рехнулся сам. Откровенный парафраз «Отелло». Но там – герой, чужак, защитник отечества – и полюбившая старого рубака за «былое и раны» юная аристократка – а здесь современное бытовое снижение, опрощение: и он полумаргинальный никто, и она тихое безответное создание. Мораль? – есть: верьте жене, не верьте сплетням, и лучше не играйте в карты.

Байронизм сжигал Лермонтова! «Демон» как аллегория разочарованного всемогущества, отверженного гордеца. «Мцыри» как гимн борьбе и свободе (простите ради бога ходульный оборот, но правда ведь).

«Толпой угрюмою и скоро позабытой...» – писал Лермонтов о поколении. Чайльд-Гарольд, перепутавший стилистику страны, занесенный в реестры, вписанный в Табель о ран-

гах Российской Империи; Наполеон без Франции, без революции, без сжигающего честолюбия и жажды свершений.

И вот – шедевр, бриллиант! «Герой нашего времени». Язык как родниковая вода, мысль как серебряная чеканка, вселенская печаль как... я не знаю... бог заплакал над безнадежностью бытия!..

Закомплексованный задира Лермонтов, сам невысокий, коротконогий, широкий и плоский, хотя сильный, лысеющий с юности, злой и насмешливый храбрец – написал идеального героя. О, Печорин!.. Стан строен и гибок, густые кудри вьются, и вообще – абсолютный красавец, белокурая бестия, храбр, силен, ловок, хладнокровен, дерзок, обаятелен неотразимо, вдобавок богат и щедр. Истинный супермен. Ницшевский Заратустра по сравнению с ним просто тупой дикарь, дубина. Первый истинный супермен в русской литературе. Он же и последний.

Подвиги его подобны геракловым. Несчастную семью «честных контрабандистов» пустил по ветру, буквально уничтожил. Бэлу погубил, убил ведь. И семью ее разорил: брат в разбойники, отца убили, другой разбойник скорбит по утраченному сокровищу – любимому коню: прах и пепел! А вот прекрасный, гениальный психологический роман: «Княжна Мери». Восемнадцатилетнюю девушку расчетливо увлек так, что бедняжка в беспамятстве первая призналась ему в любви, на что ей сообщил, что она ему не нужна, и оставил ее страдать дальше без надежды. А над простодушным приятелем без причин поиздевался, озлобил его и пристрелил на дуэли. Да, годы спустя встретился со своим начальником крепости, где служил, старик бросился ему на шею – Печорин отстранил его холодно и говорил как с чужим; это называется не то заноза в сердце, не то в душу плюнуть. Завершение портрета: да в гробу видал я вас всех.

Во-первых, как вам нравится точная модель «Онегина»: девушку увлек от скуки и снисходительно-холодно объяснил, что она ему – фью!.. А друга поддел, завел и застрелил. А самому скучно, делать нечего. Хотя, конечно, томится и страдает. И средства есть. «А верно, было мне предназначение высокое». Это может сказать о себе любой незаурядный негодяй.

В школе на перемене, после урока литературы, мы прямо с возмущением сходились в том, что Печорин был подлец, именно негодяй, далее шли характеристики непечатные. Да если бы у нас кто такое сделал – набить морду, и пусть переходит в другую школу! И не фиг это «страдающий эгоист» – он че страдает? Если так смотреть – мы все страдаем, и побольше, чем он! Нам что, жить легче? Да ему делать не хрен, в колхоз его загнать – тогда узнает, как страдать, он рыдать будет по утерянному счастью!

Школьная постановка вопроса, что Печорин не гадина, то-се глубокий образ, нам была совершенно фальшива, надуманна, неприемлема. Ни один из нас не хотел бы жить рядом с таким человеком. То есть мы были ребята с нормальной здоровой психикой, с нормальными представлениями о жизни и людях.

А вот представление о жизни и людях у толкователей русской литературы, у ее диспетчеров и законодателей мнений... об этом мы вскоре еще скажем.

Но сначала – Гоголь. Чудные отфольклорные мотивы «Вечеров на хуторе...» и «Сорочинской ярмарки» – хорошо, понятно; и гиря на чаше весов славянофилов в очень остром тогда споре. «Тарас Бульба» прекрасен, герой-патриот, режет и рубит басурман, ляхов и жидов. Некоторые современники сравнивали с «Илиадой» по величественности, эпичности, героичности; Гоголю это льстило. Наша местная тоже «Илиада». (Сейчас вот не знаю – на Украине как: ведь в «Бульбе» всех побеждает русская сила, а дело на Украине; сложно живем...)

Бессмертный «Ревизор» – мелкий проходимец на фоне провинциальных идиотов.

Бессмертные «Мертвые души» – мелкий проходимец на фоне провинциальных идиотов.

А потом Белинский, неистовый Виссарион, произнес историческую фразу: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели»» – и Акакий Акакиевич Башмачкин, мелкий чиновничек ничтожный, встал во весь свой небогатый рост, и тень от него легла такая, такая! что в этой тени пошло все развитие великой русской литературы!.. И в XX век эта тень дотянулась, и

сейчас многие там в ней шевелятся и слова разные новые придумывают, якобы новые направления изобретают.

Как там пела прекрасная молодая Доронина Роберта Бернса в переводе Маршака: «И первым любовным туманом меня он укрыл, как плащом...» Любовным туманом, как плащом, накрыла чиновничья бедная шинель всю русскую литературу, и она стала искать свою судьбу «На рынке у самой дороги, где нищие рядом сидят...» Но в поэзии мужика-шотландца была гордость, и лихость, и абсолютная стойкость, и щедрая безоглядная любовь, и абсолютная нераскаянность в своей беспутной, но счастливой жизни, и готовность платить полную цену за бывшее счастье – и гордиться им, и радоваться жизни, и пить во здравие! Вот никогда не было этого в русской меланхоличной поэзии, в русской чувствительной и сострадающей литературе. А вот кровь не та, дух не тот!

Лиза и Станционный смотритель были маленькие люди, Онегин и Печорин лишние люди, и все они были страдающие люди, хотя страдания барина и простолюдина – вещи бывают весьма разные.

Акакий Акакиевич – стал Главный Маленький Человек. Который не жил никогда хорошо – нечего было и начинать со своей шинелью. Но черт побери! То была эпоха Николая I Палкина! Он любил порядок во всем, государство выстраивалось по ранжиру, шинель была уставной формой одежды государственного служащего, а через него государство охватывало всех и вся. Шинель была формой одежды Империи!

Шинель, если чуть-чуть всмотреться, становится государственным символом, символом служения отчизне, умения устраивать свои дела, верноподданности, статуса.

А маленький человечек обгрызен, неполноценен, бессилен. На нем фокусируется вся безжалостность государства, вся черствость общества, весь эгоистичный сволочизм этой жизни. Новелла (повесть) удачна до крайности, гениальна. И! Гениальность автора – превращает героя, который жертва, который ничтожество, привидение, слух, – в гигантскую фигуру, знаковую, мощную! Кто – гигантский, мощный, аж символический, прославленный и знаменитый? Пострадавшее ничтожество. Доброе, беззащитное, безвредное, несчастное, – но ничтожество!

И!!! Ничтожество стало культовым!!! Положительным, достойным, хорошим, объектом жалости и всяческих гуманных чувств и мыслей.

И первая шеренга, геройская когорта русской литературы приняла в свои ряды еще одного... члена... жертву... носителя несчастий. Великого неудачника.

А у неудачника, между прочим, есть такое свойство: он распространяет вокруг себя несчастья. От него лучше держаться подальше, себе спокойней выйдет. Неудачник заразен, он инфицирует окружающих. Сочувствовать можно, помогать похвально, хотя бесполезно; но лучше все на расстоянии.

А у нас старательно отбираются неудачники – и просто внедряются в коллективное бессознательное! Методом вбивания со школы!

И тут, если остановиться и перекурить, вперившись взглядом в недавние для тех классиков времена, возникают картины интересные, а картины рождают вопросы.

Вот Россия в Семилетней войне, вот аннексия (недолгая) Восточной Пруссии с приведением жителей в российское гражданство, приведение поголовное к присяге российской короне. Вот взятие Берлина – пусть кавалерийский набег, пока Фридриха с армией не было дома, а потом мы быстро смылись – но все равно: брали же Берлин! И были герои сражений, и взлеты карьер, и слава русского оружия. И – ни хрена русские классики этим не интересовались.

Завоевательные походы Румянцева, Итальянская кампания и Швейцарский поход Суворова, грандиозный век Екатерины, Потемкин с завоеванием и освоением Новороссии и Крыма; основание Одессы и Севастополя, закладка и стремительное создание Черноморского флота, головокружительные карьеры вельмож – людей титанического духа, стальной воли, жадных и коварных, как дьяволы, ослепительно разбогатевших, как крезы; и – ничего! Для нас сегодня –

ну ничего же нет в русской классике обо всем об этом. Не колышет их. Как не своя страна. Ода Державина на смерть Суворова – кто это сейчас читает, и вообще слышал, кроме филологов. Что мы знаем о взятии Очакова и завоевании Крыма – события важнейшие в русской истории, массы людей коснулись? А: «Сужденья черпают из забытых газет времен очаковских и покоренья Крыма!» Все? Так точно, ваш-бродь, усе.

Ну-у, а Ломоносов (по главной версии), неграмотный крестьянский сын, с обозом дошел до Москвы – и стал гордостью русской науки? Да на фиг.

А русские первопроходцы, колонизаторы, наши фронтиеры, освоители и присоединители Сибири, Камчатки, Аляски, фактории в Калифорнии? А, не больно-то и интересно.

В 1820 году Беллинсгаузен и Лазарев открыли Антарктиду. Новый материк. На минуточку. Который веками предполагали, предсказывали и безуспешно пытались обнаружить. Обледенелые парусники у Южного полюса! Но, сами понимаете, к русской литературе это отношения не имеет и писателей не затрагивает.

Мы безусловно согласимся, что искусство – и научные открытия, а равно прогресс социальный, политический и во всех прочих формах – вещи разные, и предметами занимаются разными, и литература не есть описание прогресса, но изучение и демонстрация души человеческой и акт эстетического креационизма, если допустимо так выразиться. Но!! Я-то о чем!! О том, что в российской жизни было кое-что, и даже немало, что могло служить чувству гордости в человеке, сознанию своей причастности к великим делам, подталкивать то есть к оптимистическому взгляду на жизнь и человека: вот что человек может, вот что человек делает, вот он каков, на какие трудные, немыслимые, фантастические, героические вещи он способен!

Да фигу. Не колышет. Знаете, это ужасная мысль, недостойная, но: главного героя русской литературы, маленького человека, а также лишнего человека, не волнует вообще ничего – кроме собственного благополучия и собственных несчастий.

Он не винтик Империи – он червяк Империи, который корчится под ее пятой или изнывает от скуки в ее кармане. Мы еще вернемся к этой мысли.

Едем дальше – видим больше.

Гончаров Иван Александрович. Обломов. Лежать на диване. Безволие. Прекрасная душа расслабилась донельзя и скисла. Сгинул в сытости и лени. А вот его же Адуев («Обыкновенная история») – подергался по молодости, пострадал, повибрировал – и стал делать бессмысленную чиновничью карьеру. А его прожженный дядюшка-циник-резонер-наставник движется во встречном направлении – разочаровался в карьере, проникся покаянной любовью к кроткой жене и бросил службу вообще, лечить ее за границу поедет.

Обломов, от которого произошло даже слово из активного словаря «обломовщина», превзошел влиянием самого Акакия Акакиевича. Как славно и спокойно ничего не делать. О, автор скорбит, осуждает, показывает и предостерегает: какой милый, тонкий, добрый человек, и вот – эта сонливость русская традиционная, сон послеобеденный, эта любовь пожрать, эта покладистость... губят, понимаешь. В Спарте его били бы палками, заставляли бегать целый день с оружием по горам, кормили черной похлебкой, учили терпеть боль – ничего, не сдох – так стал бы человеком. Покажите нам такого Обломова! Чтоб один сдох – а второй стал человеком! Но: особенность:

Национальная особенность русской классической литературы в том, что она ненавидит активную жизненную позицию. Не приемлет. Такие испытывает чувства, что в победу над несчастьями мы не верим, к величию державы отношения не имеем, героев в упор не существует – зато над всем, заслуживающим внимания, можно только плакать!..

Нет, я не прав. Вот вам пример очень активной жизненной позиции: студент с топором, Раскольников наш, который не тварь дрожащая. Раскольников – это анти-Обломов. Наш ответ лорду Керзону.

Живет история, как Некрасов с Григоровичем (вариант – без Григоровича) ворвался к Белинскому (вариант – ночью) с криком: «Новый Гоголь явился!» – и кинул на стол рукопись «Бедных людей».

Некрасов и сам был прекрасен. «Выдь на Волгу – чей стон раздается?» «Ни стоны из ее груди, лишь бич свистел, играя. И музе я сказал: гляди – сестра твоя родная». «Есть женщины в русских селеньях... – в горящую избу войдет». Что значит войдет – она живет в ней! «Кому на Руси жить хорошо»? Да всем плохо! Одним концом по барину, другим по мужику. Богатые тоже плачут. Крестный, стало быть, отец Достоевского.

Жизнь «Бедных людей» беспросветна – достать чернил и плакать, как сказал в следующем веке другой поэт. «Униженным и оскорбленным» живется вряд ли лучше, как вы понимаете. И вот, пережив гражданскую казнь, каторгу, солдатчину, Достоевский вернулся в литературу. Протест гневный зрел в нем! И вызрел. Топором по маковке старуху-процентщицу, ну и заодно сестру ее глухонемую. А вот чтобы доказать себе, что героическая личность выше толпы и на все имеет право.

То есть Достоевский примеряется к Наполеону с линейкой и микроскопом школяра: где Наполеон в громе армий и кипах договоров переделывает всю Европу – там русский студент убивает старушку. Ему плевать на цель и масштаб деяния. Главное – я тоже могу убить, раз мне надо. То есть: великий классик равняет уголовника, который режет прохожего за кошелек – с повелителем Европы, обуреваемого идеалами и пытающегося установить мир с соседями на своих, однако, условиях, обеспечив могущество родины. Существенно только одно: могу убить или нет.

Достоевский довел идею до абсурда, методом предельного упрощения свел проблему Наполеона к Раскольникову – чем Наполеона безусловно принизил и заклеил как идею и дьявольское создание. Но! В результате! Там, где во Франции Наполеон – там в России большой и бедный студент-недоучка с топором. Каждому свое. Писателю отдельный респект.

А ведь юный Наполеон был гораздо беднее Раскольникова. Жил впроголодь, на нищенское жалованье еще брата содержал, дела семьи посильно устраивал. Но натура была иная! Писал романы, искал перспективной службы за границей, рыл землю, был убежден в своей удаче и славе! И когда случилась революция и удача стала возможна – он сам создал ее, был готов к ней более, чем кто-либо другой!

«Преступление и наказание» – убийца и проститутка. О, он мыслит, она благородна, им открывается Евангелие – и рука об руку в новый счастливый мир. «Идиот» – идиот. Единственный благородный человек среди уродов – нормальных людей. Так они тоже ненормальные: истеричная содержанка и истеричный же купец с наклонностями убийцы, каковые он и реализует. Злая пародия на «Кармен». Все прочие персонажи – люди с собственными вывихами. И «Братья Карамазовы» недурны. Содержанка, старый развратник, моральный урод-убийца – ну и, конечно, правда за тем, кто ближе всех к православному богу.

Вот три главных романа великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского – и вот три главных их героини: три проститутки. Одна уличная, две на содержании. При каждой – по старому развратнику, любителю свежей клубнички. Три главных героя: убийца, сумасшедший эпилептик и монаший послушник.

Я понимаю. Есть и убийцы, и сумасшедшие, и проститутки, и содержанки, и даже купцы и монахи. Но здесь речь идет о главных героях главного писателя земли русской – и что? именно убийцы и проститутки есть самые характерные герои народа? А получше никого нет? Есть – парнишка из монастыря. Раскольников, Мышкин, Рогожин, Смердяков, так к ним еще Верховенского из «Бесов» прибавьте. И их подруги: Соня, Настасья Филипповна, Грушенька. Скажите: а честные женщины в России были? А вдруг да кто женился по любви, медовый месяц провел, через полвека в кругу детей и внуков золотую свадьбу отметил? А вдруг кто жизнь в сражениях провел и жив остался, выслужил чины и ордена, уважали его за дело? А еще были

врачи, учителя, булочники, купцы без психопатии, и даже профессора водились в России, даже ученые иногда случались. Архитекторы были, инженеры, свободные казаки на юге жили да от Днепра до Забайкалья. Вы понимаете: кто-то пахал землю, ковал металл, шил одежду, строил дороги, издавал газеты и ловил рыбу в холодных северных морях. И ни хрена!!! Проститутки и психопаты!!!

Эти письменники бывают со своими странностями, знаете. С творческим взглядом на мир. Избирательное зрение. И провалиться мне на этом месте – но иногда в их творчестве прорываются их комплексы. Ведь что ни пишет писатель – он все равно всегда пишет свой автопортрет. Это он так видит мир, это его мысли и чувства воплощаются в героев и их отношения и поступки. Собственно, это должно быть даже банально, то, что я сейчас сказал; иначе и быть не может.

Вот Тургенев был, в отличие от большинства литераторов, обычно людей хиловатых, щупловатых, закомплексованных и так далее, не мачо, не суперменов – Тургенев был красавец. Рослый, стройный, представительный, вид имел холеный, густые русые волосы выются, баритон бархатный: смерть дамам. Но его несчастный роман с Полиной Виардо, которая вила из него веревки, а он терпел любые унижения, только деньги летели, окончательно сформировал его (после малоприятного детства, где отец ушел от нелюбимой матери с ее деспотичным характером). Некрасивая и блистательная певица Виардо жила с мужем, имела детей, меняла любовников, а Тургенев, уже прославленный писатель, в Европе – самый известный русский писатель, жил обычно как бы в их семье. У них с Полиной был общий ребенок, но она держала бедного Тургенева в железной узде, эта «сажа да кости», была у нее такая кличка, пардон, прозвище в кругах света.

Тургенев писал хорошо! И романы его хороши! Они и сегодня прилично читаются, и мысли в них разумные, глубокие встречаются, и язык чист и легок. А вот и герои. И их судьбы.

Базаров. Новый человек. «Отцы и дети». Реалист, «мастеровой в природе», гражданин, начинающий ученый, доктор. Умер. Заразился и умер. Молод, здоров, вынослив – ну что? Порезался, заразился, умер. Скажите: Тургенев его с какой целью убил, какой смысл вложил? Что не будет русского ученого, не встанет бедный разночинец вровень с реликтовыми аристократами? Но вдохновляет это, конечно, сильно. Помечтал? Пожалуйте на кладбище. Не фиг помногу планов строить.

Старшее поколение, Павел Петрович, в прошлом блестящий офицер, опустошен несчастной любовью, похоронил себя в провинции. Младшее поколение, Базаров, поступился принципами рационализма, влюбился в красивую вдову – безответно, будьте уверены. Это была разборчивая вдова. А счастливой любви не бывает, по Тургеневу.

Что мешало Одинцовой полюбить резко выделяющегося, незаурядного, эпатажного и энергичного, перспективного Базарова? Женщины таких нюхом чуют: это мужчина, не чета окружающей мелочи, это личность, у него великие цели, он в обаянии большого взлета и циничной суровости! Она ж в своей глуши со скукидохнет. Выйти замуж за Базарова, а ему на ней жениться: оба счастливы, нормальная семья, материальный вопрос решен, а кстати и неупоминаемый тогда сексуальный, можно спокойно заниматься наукой, приносить пользу людям, все ведь хорошо – ни войны, ни болезней не было, ну ведь нет никаких же серьезных препятствий. А вот фиг! Не переступит этот волк флажков! Да не волк ведь, а собака крашеная... это я уже о Тургеневе...

Что осталось от Базарова, кроме бедной могилки? Слово «нигилист», оно и раньше было, но теперь вошло в обиход.

Инсаров. «Накануне». А вот и женился! А вот и счастливы! Оба молоды, красивы, умны, свободны, полюбили друг друга – ну что ж не жениться, в конце концов. И оба – новые люди, имеют идеалы, он так вообще борец-революционер, и вместе с Еленой он едет бороться за освобождение родной Болгарии от турецкого ига.

Как вы уже догадываетесь – не доехал. Вы сейчас будете смеяться, но Инсаров тоже заболел и умер. Простудился. Причем такой был здоровый, сильный молодой человек, там к ним как-то пристала пьяная компания еще в России, период ухаживания, так он самого наглого и здорового из пристава просто поднял в воздух и кинул в воду. А тут – простудился и умер.

Все может молодой и крепкий литературный герой, кроме одного – если автор решил его убить. Тогда хана. Молодой, здоровый, счастливый – отчего умер?! Отчего надо – оттого и умер. Простудился. Порезался. А надо – упал бы с лошади, застрелили случайно на охоте или поел на ночь грибов с кашницей.

Вечные святыя слова «Первая любовь» – прекрасная такая и печальная была повесть у Тургенева. Юный Владимир любит Зинаиду, Зинаида любит его отца, отец вроде и не любит, и как бы любит Зинаиду, она ему покорна, но у него долг перед семьей и обязанности, он ее бросает, но сам тоже страдает. Любовный треугольник по-русски: несчастны все трое. Шок – это по-нашему. Ей-богу, напоминает анекдот, простите за неуместное глумление: русский треугольник – барыня любит кучера, а кучер барина.

Финал: отец умер вскоре от инсульта, Зинаида умерла при родах, выйдя замуж за нелюбимого, травмированный Владимир грустит всю жизнь. Грустит – это хорошо, ладно, все грустят, но зачем надо уморить обоих?

Тургенев просто ненависть испытывал к счастливой и взаимной любви. самого мучили и водили за сладким – так и весь мир трагичен, у всех плохо, никто не счастлив. А у самого имение немалое, и Катков ему 400 рублей за лист платил – это сумасшедшие были деньги, Достоевский вечно завидовал, что ему вчетверо меньше. (Лист – нет, это не страница, печатный лист 32 страницы, потом фальцуется (складывается) и обрезается; тогда не обрезали, были ножи для разрезания книг.) Я понимаю Виардо: от этого талантливого красавца разило мировой безнадёжностью.

Если Лермонтов был Чайльд-Гарольд русский гусарский поэтический... Тургенев – это Чайльд-Гарольд диванный. Чайльд-Гарольд либеральный барин.

Давно умный человек сказал, что несчастное детство есть условие возникновения писательского дара. В принципе и Пушкин с Лермонтовым были не шибко-то счастливы в детстве, не было там родительского тепла, и Некрасов с Тургеневым не очень... но что ж это за такая странная селекция у нас происходила!..

«Тургеневские барышни» – это что? Образованные, застенчивые, целомудренные, сверхчувствительные, доверчивые и бескорыстные – а еще неумелые, непрактичные, немного не от мира сего, романов не крутят, о положении в обществе не думают: вянут-пропадают, в народе это называется.

Господа! А ведь Лиза и Акакий Акакиевич, Онегин и Печорин, Обломов и Адуев, Раскольников и Мышкин, Базаров и Инсаров – господа, они же все бесплодны, господа! Они все лишние, все неудачники, все плохо кончают, никакого следа не оставив на земле! Это же проклятие какое-то!

И нет в них душевного величия, сносящих горы страстей, и цели великой нет, и идеалов нет, а если вдруг есть что – так нелепая, негероичная, случайная и бытовая смерть – отнюдь на самом деле не случайная, а закономерная, вот в чем горе! – смерть как неизбежная подробность жизни вырывает очередного дорогого товарища из наших рядов – пока он ничего не успел совершить, понимаешь.

Но вот вершина русской классики, какая глыба, какой матерый человечине, кого поставить рядом с ним? некого! – граф Толстой Лев Николаевич, этот жизнь знал, этот в гробу видал всех, кто ниже его ростом, как говорили в детстве у нас во дворе. Игрок, бабник, гуляка, разгильдяй, недоросль, юнкер, задира, боевой офицер крымской кампании, командир артиллерийской батареи – и вдруг автор повестей столь тонких о детстве, отрочестве, юности, полных

такой психологии, таких деталей, что диву давались, откуда что, и он же – автор полурепортажных, откровенно реалистических «Севастопольских рассказов», уж эту жизнь понимал.

Вершина вершины – «Война и мир». Вот самый... устремленный к большим делам, что ли... к высоким целям и служения человечеству, и (для себя) заслуженной славы – князь Андрей. Первая жена умерла родами, вторая женитьба не состоялась по его, в сущности, вине – сначала последовал воле самодура-отца с годичной отсрочкой свадьбы, потом честь и гордость заставили отказать невесте, которая по юности лет и буйству гормонов, не перенесла одиночества, вдруг бешено влюбилась в светского красавца, хотя не было измены, как это раньше называлось, а была долгая тяжелая нервная болезнь. (А вы чего ждали, бросая на год прелестную шестнадцатилетнюю девушку неизвестно чего ради?) В результате князь Андрей гибнет дважды: сначала со знаменем в руках впереди атакующих солдат – в позорно проигранном Аустерлице – но выжил! но вывода сделать из своей смерти и спасения все же не сумел! – а уже насовсем – при Бородине: из гордости и глупо, отказавшись упасть на землю перед вертящейся шипящей бомбой. И первая жена умерла, пока он подвиги совершал глупые, красивые и пустые, и вторая не состоялась из-за гордого и глупого позерства, а ведь любил он ее, и она его, да уже поздно было.

Самый значительный герой великого романа терпит в жизни полное фиаско. А ведь этот еще из лучших, заметил Атос.

Но конец в общем хороший, что традиционно для литературы вообще, и несколько не характерно для литературы русской в частности. Автор мастерски свел все линии в узелки. Богач Пьер женился на Наташе, она счастлива семейной жизнью, а он занимается в кабинете некими неясными умственными занятиями; есть мнение, что он может быть близок к декабристам. Вообще Пьер неуклюж, силен, чист наивной душой как хрусталь, честно пытается понять мир и незаслуженно чрезвычайно богат, унаследовал состояние. Этот персонаж вызывает в читателе что угодно, но только не близкие чувства. А уж Наташу за полное растворение в семейных заботах избивали все, кому не лень.

А очень хороший и крайне незатейливый Николай Ростов женился на княжне Марье – даром что некрасива, но глаза какие – он ее очень кстати полюбил, потому что сам обнищал, а она очень богата, но брак не по расчету, это бы его морально запачкало в наших глазах, конечно. И стал он примерным рачительным баринком.

Заметьте: естественность, любовь, деньги и счастье подаются в одном флаконе. Это принципиально!

Ну, а идеал человека – это крестьянин Платон Каратаев. А потому что не дергается, а полностью подчиняется обстоятельствам, плывет по волнам судьбы, по течению жизни – в том и мудрость, и правда, так и надо.

Здесь надо понимать что. Чего нет ни у одного толстоведа, потому что литературоведы философией не особо интересуются, для них верх необходимой приличному человеку философии – это Ницше и Бердяев. То есть поэт-метафорист и рассуждающий о самых общих предметах без связи между ними болтун. Зато это доступно пониманию и принято. Еще Шпенглер и Шопенгауэр упоминаются. И экзистенциализм с постмодернизмом – полдюжины имен, не вникая глубоко в суть. О, слушайте, да они же образованные ребята, они же до фига знают, чего же я злопыхаю?..

Значит, так. Углубившись всей мощью ума, отдохнувшего в молодости в приключениях и удовольствиях, углубившись в постижение мудрости веков, Толстой принял для себя объективистскую социологию Конта. Это было тогда очень принято в науке, революционно, но уже признано, меж людьми учеными устоялось. Ну, очень кратко сейчас – сводится политическая философия Конта, позитивизм в эволюции социальной, к тому, что законы Истории – объективны! И от воли отдельных людей политические процессы не зависят!

А зависят от общего хода вещей: климат, расстояния, техническое развитие, история народа и дух народный, но самое главное (для нас сейчас) – это такое внутреннее чувство людей, поступающих вроде по собственному желанию для собственной пользы, что вот по жизни получается поступать вот так – оно объективно и правильно. То есть «невидимая рука рынка» Адама Смита – но уже не только для экономики, а всего устройства человеческого общества вообще. Строительство городов, ведение войн, изменение политического устройства государств – это все объективный ход вещей, который проистекает из частных желаний людей, но помимо их воли, сверх их личных желаний.

Ну типа: хотят свободы и равенства для всех – а получается гильотина, Наполеон, европейские войны и континентальная блокада. При этом хотели-то: кто должности, кто деньги зашибить, кто врага наказать, кто что. А в результате – творится история, совсем не та, что люди себе воображали, совершая свои действия.

Вот по этой философии в романе Наполеон – придурок с манией величия: он думает, что все происходит по его воле, а на самом деле – ничего подобного, все своим порядком как бы само идет, подчиняясь неисчислимым обстоятельствам и мелким отдельным волям непредсказуемым на мелких отдельных участках. Вроде как Николай Ростов самочинно ударил с эскадром по французским кавалеристам – и выигралось все сражение.

(Здесь Толстой интереснейшим образом соединяет антагонистов – бывшего Конта и будущего Поппера, но сейчас мы просто не можем об этом говорить, и так вовремя, похоже, не укладываемся.)

Поэтому. Наташа, Николай, Марья, Пьер – хорошие люди. Они естественные. Не дергаются. Не имеют ложной амбиции менять своей волей мир. Плывут по течению, исправно гребя.

А князь Андрей – объективно неправильный, ошибочный, даже вредный для жизни – он не простой, не добрый, не душевный, все ищет смысл, подвиг, предназначение: нет ему места в живой жизни, по собственной вине он из жизни исторгается.

О'кей: хотите ли вы быть хозяйственным баринком, или толстым неуклюжим добряком-богачом, или красивой и сильной плодovitой самкой, или кем еще?.. А Платоном Коротаевым хотите? Живите на зарплату, платите ЖКХ, слушайтесь властей, голосуйте за Путина – и улыбайтесь благодатно! А вам не кажется, что генетический барин Толстой изобразил в Каратаеве идеального подданного деспотического государства? Подсознание не обманешь!

Платон Каратаев – это буддизм применительно к самодержавной империи. Толстой думал, что он конкретизировал поведение истинного, объективно правильного человека в согласии с объективизмом Конта. Но его мозг думал иначе – своими неподконтрольными участками.

Так кто там еще? Васька Денисов? Славный сержантско-лейтенантский идеал. Долохов?..

О, Долохов – это фигура очень интересная, недооцененная. Видите ли. Пара Долохов – Пьер – аналогична паре Печорин – Грушницкий или Онегин – Ленский. Ему нравится обаять друга – и изводить – и пристрелить на дуэли. Это естественное развитие образа лишнего человека романтического периода – он стал циничнее, адаптировался социально, вынужден как-то зарабатывать на жизнь. И одновременно он – маленький человек, который не хочет мириться со своей участью. Он имеет волю, ум, обаяние – и вот кульбит: маленький человек нагибает больших и подчиняет своей воле! Магната Пьера Безухова, благополучного Николая Ростова, блестящего Курагина тоже использует!.. Этот маленький человек презирает сильных мира сего и сознает себя сильнее их, храбрее, умнее. Старушка-мать, горбатая сестра – вот единственные родные ему люди, там его любовь, там его сердце, его подлинная натура. А здесь – ледяной блеск безжалостного супермена.

Он так же бесстрашен и жесток на войне. Он отличный боец!

Как вам нравится такая эволюция маленького и лишнего человека? Реализм наступил, господа, век шествует путем своим железным. Толстой был гений в «Войне и мире», а если мы с чем не согласны – так всему есть тут свое объяснение, свой замысел.

Но! Имеется ли в виду Долохов как положительный герой и пример для подражания?

Толстой принципиальный противник героизма и любого идеализма. Он уже проповедует просто жить, не дергаясь. И тогда всем достойным людям повезет само собой: богатые женятся на бедных, пустоцветы останутся пустоцветами, пустых карьеристов оставим их доле, все неплохо. Элен умерла, Анатолю оторвало ногу, старый князь преставился, жизнь удалась.

Но если вы не возвращаетесь среди князей, графов и богачей, ваше дело хуже. Хотя могут, как Платона Каратаева, помянуть в барской усадьбе добрым словом. Аристократ, авантюрист, талант, Толстой молодой – воспетого литературой и ее средой маленького человека презирал, и определил ему правильное применение: достойно служить высшему сословию, не бунтовать и принимать свою долю благостно. (Опрощаться он будет к старости...)

Книга гениальная, но хороший конец сулит только элите общества. Такие дела.

И вот главный женский образ русской литературы – затмивший Татьяну Ларину и Наташу Ростову, не говоря о соцветии тургеневских барышень. Анна Каренина!

Это написано уже позже, зрелым человеком к пятидесяти годам, много передумавшим и переоценившим.

Анна Каренина – это эволюция Наташи Ростовской, а точнее ведь не эволюция даже, а мутация, – которая не встретила Пьера, и с Андреем и Анатодем не вышло, и в конце концов вышла замуж не по расчету даже, а ну надо же выходить замуж, ну все так живут, принято это, без этого в жизни нельзя, плохо, это несостоявшаяся жизнь, – и любовная страсть осталась тлеть внутри нее, в латентном состоянии, написали бы в диагнозе.

Ни она, ни Вронский ни в чем не виноваты. Роман замужней дамы – обычнейшая вещь, только приличия в обществе соблюдать надо. Два взрослых, молодых, красивых человека любят друг друга без памяти – почему такие терзания, что за пародия на «Тристана и Изольду» с конфликтом чувства и долга? Долга, ломающего им души, хребты ломающего, жизни – это что за долг, да перед кем? Что, уже не в любви правда?

Несчастливая Фру-Фру, символ их судьбы – это обязательно? неизбежно?

(Вам не кажется, что Толстой периода «Войны и мира» решил бы конфликт иначе: пустоцвет Каренин был без жалости предоставлен своей участи, естественная жизненная любовь без особых размышлений соединила бы Анну и Вронского, они плюнули бы на свет и счастливо вели хозяйство в деревне, он бы еще лошадей разводил?)

Я долго не мог понять, что же именно в книге вызывает у меня отторжение. Вот! – сцена первого любовного свидания, после того как. Она лежит ничком, чувствуя себя погибшей, все ужасно, упадок духа, скверно. А он, он: бледен, челюсть дрожит, все неловко, чувствует себя убийцей. Да вы с ума сошли! Темпераментная женщина в цвете зрелой молодости – и красавец-аристократ-офицер, который уж амурных удовольствий познал, будьте уверены. Что случилось?! Где ласка, истома, благодарность, нежность, тихое счастье произошедшего уже после взрывов страсти, блаженное чувство «провались все пропадом, все решаемое, завтра разберемся, сегодня наша ночь (день)»?! Где и отчего заклинило мозг у графа, что он впал в брезгливую ненависть к сексу в самых счастливых его проявлениях?!

(«А я, батенька, в молодости был ужасный блядун...» – мечтательно сказал Толстой, если верить воспоминаниям Горького, который и сам был не монах, им там было о чем поговорить.)

Сцена эта совершенно фальшива, это насильственная морализаторская конструкция, Толстой вживается в роль инквизитора души: «прав был парторг: ме-ерзкое это зрелище». Они-то, в жизни, вели себя иначе! Но ему было нужно – чтобы так. Долли с Левиным на земле своей живут – а той паре в пустом аристократическом свете не жить: где свет – там и грех, он и пагубен. Спасибо.

И вот Анна, созданная вся для счастья в этой жизни, бросается под поезд, а Вронский, ей верный и ее достойный, уезжает сгинуть на дальней войне.

Книга нравоучительна и душеспасительна, и тем отвращает. Левин как реинкарнация Николая Ростова-помещика, поумневшего и образованного, – и Вронский как Болконский, только мельче и пустее. Левин и Долли в качестве положительного примера, такого библейско-патриархального характера, и трудно, и тягости есть, а все-таки смысл жизни вот он – поближе к народу и земле, семье и хозяйствованию. И это провоцирует укол садизма, ассоциации от противного чеховские об «идиотизме сельской жизни» и «свинцовых мерзостях русского быта».

Не вдохновляет «Анна Каренина» на подвиги, не укрепляет веру в возможность счастья. Но и не наполняет высокой гордостью за величие человека, пусть и погибшего в борьбе с жестокими обстоятельствами, но показавшего все величие своего нестигаемого духа!

Вот чего нет в русской классике:

Величия и героизма греческой трагедии. Нет.

Трагедия – это смерть героя. Смерть слабака, червяка, жалкого никчемушника – это не трагедия. Это тягостное (но для посторонних – мелкое) бытовое несчастье.

Для этого не обязательно становиться на котурны. Но даже в смерти затравленного охотничьей сворой волка – больше величия и достоинства, чем в гибели жалкого чиновника. Да лучше пей, лучше выходи с ножом на большую дорогу – только не смей скулить и сдаваться! Сдохни – но побеждай! Н-но – это не для нас...

«Собор Парижской Богоматери» – это трагедия великих характеров. «Труженики моря» и «Девяносто третий год» – это трагедии. Можно быть плебеем-работягой – но быть героем! Можно быть шутком, презренным фигляром – но быть героем! – «Человек, который смеется». Ну да, Гюго романтик, Толстой его принципиально отвергал и опровергал, а у нас тут все сплошные реалисты.

Бальзак. Реалист! «Полковник Шабер». «Отец Горио». Да даже «Гобсек», полубезумный ростовщик, – но какие великие характеры, исполинские натуры! Они могут вызывать жалость – но все равно уважение, все равно признание их крепости и душевного величия! (Кстати: сравните величие Шабера и сломанность Протасова из толстовского «Живого трупа» – а сюжет тот же, взят бальзаковский.)

Почему Джованьоли написал «Спартак», а в России никто не написал «Дмитрий Храбрый», скажем?

Почему в народе пели про Стеньку и Пугачева, а писателям нельзя, это ясно: цензура самодержавия, спасибо еще Пушкин взялся за «Историю пугачевского бунта».

Почему в России не было и не могло быть Джека Лондона – великого писателя своей эпохи, певца героев в «простых людях» тех самых, романтика и продолжателя Киплинга, а уж у Киплинга рассказы о крутой жизни солдат, чиновников и работяг – как раз героический реализм, стоит ввести такой термин. Просто живут и работают – а сколько сил и терпения нужно!

И не было веселого, смешливого и вдруг печального оптимиста О. Генри.

Даже печального Диккенса – а все-таки который любил хорошие концы, и у него крошки Доррит выходили замуж, Оливеры Твисты выходили в люди, и после злоключений и лишений хорошие люди начинали счастливую жизнь, – да, так Диккенса у нас тоже не было.

Почему, почему не мыслятся у нас «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо» – веселье, дружба, авантюра, благородство, справедливая месть и торжество добра и правды?

У нас была песня, о, позднее: «Это даже хорошо, что сейчас нам плохо». Примечание: сейчас – это сейчас, именно всегда сейчас. Смех смехом – но что же, любим мы это дело: страдать?..

И возникают тогда вот какие мысли насчет литературы нашей – и нас как ее и автора, и адресата.

Мысль первая. Об интеллигенции.

Интеллигенция – почему типично русское понятие? Потому что с начала XVIII века Петр стал посылать отобранных людей за границу, на обучение. И они возвращались, кто возвращался, не только набравшись образования, но и подхватив западный образ мыслей и представлений: насчет прав человека, свобод, справедливости и так далее.

С этого момента в части образованного сословия – как правило это были люди незнатные, больше по части наук и искусств, техники, строительства, корабельного дела, учительства и медицины, металлургии, химии – типа будущие разночинцы, – в них соединялось продвинутое образование, знания, квалифицированность профессий – сочеталось это с вольнодумством, представлением о правах и свободах, о достоинстве личности, о гражданском самосознании, о чувстве собственного достоинства. Чего до Петра, после Ивана-то Грозного тем паче, в России и близко не было в принципе! И эти люди выделились в своего рода сословие, имели образ мыслей не такой, как весь остальной народ в стране.

А в стране было самодержавие, деспотия, рабовладение и цензура.

Таким образом, интеллигенция естественным порядком оказалась в духовной, интеллектуальной, внутренней оппозиции к власти. Ибо в России: власть – все, человек – ничто.

А оппозиция власти – это сознание невозможности карьеры, свободной самореализации, социального и, соответственно, вообще жизненного успеха, если ты не будешь прогибаться под власть. Или преуспевание и достижение больших целей, сообразуясь с законами и порядками тирании, – либо сохранение благородства и достоинства, но тогда жизненной удачи в России тебе не видать.

Из этого следует – что? Что удачники презирались, в них видели знак скверны и подлости, заискивания перед верхами, – а человек порядочный, честный, благородный и чистый душой – был обречен на жизненное поражение. Либо – вариант: нечего ему здесь делать. Или Лиза в пруду и Башмачкин без шинели – или Онегин изнывает в безделье, Печорин дурит на Кавказе, а Обломов спит на диване.

Примечание к мысли первой: но ведь дворяне-то еще не интеллигенты? Они-то как раз привилегированный слой, им в государстве пути наверх открыты. – А дворяне фрондируют! Надул ветер Французской революции мысли о прогрессе и свободе. Судьба Филиппа Эгалитэ дурным головам покоя не дает. (Через сто лет, к 1917, они с энтузиазмом вымостят себе дорогу в расстрельные подвалы.) Они тоже хотят: «Пока свободой горим, пока сердца для чести живы!...»

Короче: среди образованного российского сословия было принято самодержавия стыдиться перед прогрессивными странами – Англией, Францией – и полагать необходимым отмену крепостного права, цензуры, введение конституции, равенства сословий перед законом, и вообще права личности чтобы, а не произвол околоточного надзирателя.

Мыслящие образованные люди от государства с его идеологией дистанцировались, были им недовольны, многое презирали.

Так в литературе же это неизбежно отражалось! А как иначе?! Подсознание, образ мыслей, информационное облако среды, французские и английские образцы, Рим с Гракхами и Брутом, Афины с Сократом и Периклом: демократия, благо народа!

Мысль вторая – логичная и нехитрая:

Все знаковые герои русской классической литературы – жертвы и следствие самодержавия и цензуры: им всем плохо в этой стране!!! Они не карьеристы, не приспособленцы, не стяжатели, не честолюбцы и не воры – они нормальные люди! И как нормальные люди – они не могут состояться! Не могут жить хорошо, по-человечески, осмысленно и благополучно, не могут добиться удач и побед.

То есть на самом деле, в жизни, они могут. Выкупившие себя крепостные, ставшие купцами и фабрикантами, самородки-изобретатели, генералы из простых казаков, много разных. Но! Русская литература есть отражение ненависти, неприятия, несогласия, раздражения образованного сословия против своего самодержавного государства.

А поэтому:

Удачники эту литературу мало интересуют. А интересуют жертвы – как фигура несогласия и обвинения власти и строя.

...Разумеется, вот так прямо и сознательно, рационально, никто себе не формулировал и задачу не ставил. Но по сути – вот такая механика, вот так оно выходило.

Мысль третья: они принципиально не борцы и не удачники. Ибо бороться с этой машинной писателям казалось бессмысленным и невозможным. Глупым. А кроме того – цензура! За экстремистские высказывания – каторга, солдаты, но к счастью – цензор не допустит, бдит!

Что же касается удачи: удача означает, что и в этом государстве с его порядками можно делать дела и быть счастливым. То есть – это акт соглашательства с властью, акт примирения, акт признания, что под этой властью, по этим порядкам – и можно ведь жить хорошо и счастливо. А вот это уже подлость, господства, это предательство идеалов.

Кульм личного успеха? Он нам чужд, это эгоизм и суетность, мерзкое себялюбие.

Русскому человеку внушено в генах: от тебя никогда ничего не зависит, все решает власть и начальство, так сиди тихо и не рыпайся. И литература подхватывает: оу йес, так и есть, он сидит и не рыпается, вот он, русский человек! А рыпнется – так горе одно, себе и другим. Человек отчужден властью от свершений и великих дел державы – ну так он о великих делах и общей пользе даже и не думает. (Радищев вот когда-то подумал – и сел мигом, и книжку уничтожили и запретили.)

Вот так, как ежа против шерсти, русская литература родила своего навечно несчастного героя. Как аллегория своего видения жизни.

Оппозиция власти превратилась в оппозицию силе, удаче, победе, стойкости, выносливости, целеустремленности.

Оппозиция власти превратилась в оппозицию активности, напору, жизнелюбию и веселью, оптимизму и хорошим концам.

Вот так оно сложилось в русской-то классической литературе.

«Записки из подполья» нашего Достоевского – это ведь манифест идеологии русской литературы образованного сословия. Ага. Это ее нижний этаж, подвал, бейсмент, чулан, подсознание.

Ну, и мысль четвертая.

Вот из этой литературы произошло известное представление о женской сути России, ее женской душе. Обратите внимание: кого любят женщины? Больше всех? В первую очередь? Кому норовят подарить свои чувства, свою любовь и заботу?

Несчастливым, обиженным, слабым, шандарахнутым – непонятым, незаслуженно обойденным жизнью. И – негодяям, подлецам, блестящим и насмешливым циникам, который точно ведь пыльцу с твоих крылышек сотрет, но как сладко и манко побыть с ним, поиграть этим огнем: по крайней мере это ведь настоящий мужчина! А также – к непонятым гениям влекутся романтические и жаждущие заботиться женщины, к погибшим талантам, великим людям, которых подкосила злая судьба.

Вот вам маленькие и ничтоженькие герои русской литературы – Лизы-Акакии-Девушкины. Вот страдающие эгоисты и наслаждающиеся эгоисты: Онегин-Печорин-Долохов. А вот несостоявшиеся титаны: Базаров, Инсаров, дальше у Чехова еще найдутся. А герой-борец – это зло ходячее и добро обреченное: Раскольников-Мышкин-Верховенский-Смердяков. А женщину надо любить падшую! (Доберется и Толстой до Катюши Масловой, не сомневайтесь!)

Таких страдальцев и изгоев выберет женщина с гипертрофированным материнским инстинктом. Она оправдает все их пороки и недостатки. Обвинит в их бедах чужие вины. Она уверует во все их великие предназначения – авансом. Она обуреваема желанием согреть, отогреть, утешить, поддержать и оправдать. Ее жизненное предназначение – буквально по арабской пословице:

«Женщина – это верблюдица, созданная Аллахом, чтобы перенести на себе мужчину через пустыню жизни».

Вот ни фиги себе загадочная русская душа: страдалец всегда ей родной, от чего бы ни страдал – а работающий удачливый человек неприятен и неинтересен.

Дон Кихот освободил страдающих каторжников – и они, преступники и негодяи, первым делом забросали его камнями. Но русская интеллигенция вычитывала из книг только то, что хотела.

Русская классическая литература несет на себе через пустыню жизни, как она себе ее представляет, жалких задохликов, обаятельных негодяев и несостоявшихся благодетелей.

(Теперь вы лучше понимаете отношение русской интеллигенции в начале XX века к будущей революции, к крестьянству и пролетариату – пьяницам, забулдыгам, всем этим перевозимым Челкашам, злобным и мстительным, жадным и тупым представителям народа, которого так обожала русская интеллигенция, так страдала комплексом вины перед ним! О, она так хотела свергнуть проклятое самодержавие, освободить исстрадавшийся несчастный народ, посадить его рядом с собою – вместе трудиться и управлять. Как боролась за гуманизм и демократию, толерантность и против смертной казни! (Не было казни? По закону. По особые решения и военно-полевые суды приговаривали.) Ну – за что боролись, на то и напоролись.

Дали маленьким людям винтовочки и отпустили вожжи. Припомнил Герасим барыне Муму, а Евгений императору наводнение.

Грянул 17-й годочек, а дальше и 18-й, и 20-й. Акакий так и служил в конторе, и тряся пуще прежнего в нищете пуще прежней. Лизе еще объяснят на политинформации, что комсомолка должна по первому требованию товарища-комсомольца дать ему удовлетворить половую потребность, иначе какая же она комсомолка. Раскольников пойдет служить в ЧК, покажет тварям дрожащим, кто он есть именем Мировой революции и светлого будущего. Онегина с Печориным шлепнут в рядах Добровольческой армии, если во Францию сбежать не успеют. Анну с Вронским экспроприируют и расстреляют в заложниках. Мышкин помрет с голоду, кто ж его кормить станет; Николая Ростова с семьей поднимут на вилы, имение разграбят и сожгут; Обломов похудеет от бескормицы, пойдет служить за нищенский паек, к 1934 его лишат прав состояния и вышлют из больших городов, а скорее – заморят в лагере по причине враждебного происхождения...

Прекрасная тема для школьного сочинения на вольную тему по окончании «прохождения» книги: «Представьте, что стало бы с героями после Октябрьской (Великой русской?) революции?»

В результате мы видим ужасное:

Русская литература – это литература поражения и капитуляции. И как компенсация – тонкая жалостливая душа и глубокая умственная рефлексия: бедолага-пораженец остро чувствует и содержательно рассуждает.

Идейно русская литература сводится к правозащитному движению в пользу всех несчастных. Не веря при этом в победу. Благородно. Но депрессивно.

Но не может же быть, чтобы великая русская литература этим ограничивалась! Да! – она и не ограничивалась!

Весь XIX век народ читал Матвея Комарова: «Повесть о милорде Георге и маркграфине Луизе» – такое лубочное переложение рыцарского еще романа. Страсти, ужасы, красоты и благородные приключения. Плебейское чтиво. Но! Яркими крупными мазками, р-роковые стра-

сти, и никакого занудства, никакой заунывности, никакого безнадежного пессимизма! Критическо-диспетчерской мыслью книга была начисто исключена из обзоров русской классики, как не было, – а кроме классики ничего ведь и не было, не помнилось, не переиздавалось!

А в 60-е уже годы, литературный расцвет, выходит знаменитый роман Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы». (Да, вторично по отношению к «Парижским тайнам» Эжена Сю, ну так русская литература почти вся вторична по отношению к европейской.) Да, роман авантюрный, детективный, – но одновременно остросоциальный, обличительный, граничит в чем-то с физиологическим очерком, очерком нравов. Читался на ура! Опять же: активное жизненное начало, зло должно караться, а добро торжествовать и так далее. Нэ трэба. Забыть Герострата!

Агрессивный и нетерпимый пессимизм свойственен русской классической литературе, вот что я вам скажу.

...И вот уже революционеры, вот уже «Земля и воля» разделилась на «Народную волю» и «Черный передел», и вот уже Степняк-Кравчинский, боевик, хладнокровный храбрец – среди бела дня, в имперской столице Санкт-Петербурге, в суперцентре, на углу Михайловской и Итальянской улиц – закалывает кинжалом шефа жандармского корпуса, начальника Третьего отделения генерала Мезенцева – и скрывается! И в эмиграции, в Лондоне, пишет роман о революционерах «Андрей Кожухов» – герой совершает покушение на царя. Но стреляет из чужого непристрелянного револьвера – и промахивается! А ведь шел на верную смерть, конечно хватают и вешают.

Я помню, как в школе этот момент привел меня в бешенство. Какой идиот идет на такое дело, не проверив бой револьвера! Ну ничего же не могут! Когда позднее я узнал биографию автора – сильно зауважал и сильно задумался: почему он, такой крутой и деловой, такое написал? Только для сюжета? Эх...

Вот таково влияние атмосферы, подпитка из общего информационного облака. В жизни одно – а в литературе другое. В жизни убивали и взрывали так, что только клочья летели от встречных и поперечных! А в литературе – пожалте Леонида Андреева: «Рассказ о семи повешенных».

А ведь русские нигилисты были уже знамениты во всем мире! Уже Бакунин был столпом и авторитетом мирового анархизма! А в литературе? В литературе все отлично: Щедрин и Чехов. Злой смех и тихий вздох.

И понадобилась молодая романтическая англичанка, Этель Лилиан Войнич, которая в Лондоне влюбилась в Степняка-Кравчинского, и прониклась идеалами борьбы за свободу, и приехала в Россию жить и работать, два года прожила, – и это она написала «Овода» (а в восстании 1877 в Италии Степняк-Кравчинский участвовал и сражался, с этих его рассказов она идеями и прониклась свободы и борьбы) – и «Овод» мгновенно перевели и издали в России: и это был и остается первый и единственный героический роман о борьбе за свободу, о несгибаемом герое – первый и единственный роман во всей – во всей!!! – русской литературе. Простите оговорку – какой же «русской»...

Молодая, не шибко образованная, не шибко талантливая – больше ничего и близко равного не написала, вообще очень мало писала, – вот англичанка – смогла! А русские титаны мысли и гении – нет! Не потому, что бездарны – многие гениальны! А потому что – закваска не та, дух не тот, мир видят не так, пара нет в котле! А та девка была английского замеса, века суровых предков сложились в ее генах, и ей это передалось: что значит драться в любых условиях и побеждать хоть своей смертью! Вот хоть сдохните все – не было такого образа в русской литературе, ни одного! Так что нам помногу-то пыжиться нечего!

Почему Инсаров у Тургенева не мог пасть смертью храбрых в боях за свободу и независимость своей родины? Почему от простуды????!! Почему Базаров – не на дуэли, не от взрыва прибора, не спасая детей от дифтерита?! Почему Печорин не в бою на Кавказе, спасая своего

солдата?! Почему князь Андрей – не в атаке со знаменем, спасая судьбу сражения – а от глупой фанаберии, дурацкой «чести»?!

Герой русской литературы не в состоянии даже пасть с честью за дело, которому служит, за идеалы, да хоть за справедливость! Сама смерть его – недоразумение, и жизнь – недоразумение.

Да подите вы все подальше с вашим слюнявым самовосхвалением: «О, во всем мире высоко ценят великую русскую литературу!» Толстоевский описал малопонятную русскую душу – вот их представление; и переводы дурные, и русский язык «Толстоевского» они осилить не в состоянии.

А на самом-то деле: книги есть прекрасные, гениальные – а герои дерьмо, размазанное по карте огромной империи. Навоз под ногами владетельных ханов. Да вовсе не все люди такие, есть достойнейшие!! А лит. герои – получите ваших дефективных, распишитесь вот здесь о получении всеобщего очень среднего образования.

Как прекрасен и вечен Салтыков-Щедрин! Я однажды час читал по радио цитаты из него – и был завален письмами повторить.

Есть в божьем мире уголки, где все времена – переходные.

Ничем не ограниченное воображение создает мнимую действительность.

Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли.

И так далее, так далее; самый вечно живой из всех русских классиков.

Великий русский драматург Александр Островский. Бесприданницу погубили, муж ничтожество, любимый – подлец. Катерина утопилась. Да все равно топиться – да чего ж она гадину-свекровь-Кабаниху ухватом не убила? Муж тряпка и алкаш, любовник эгоист: вот Варвара свалила с Кудряшом – так еще ограбить бы и спалить стервозную Кабаниху святое дело было бы; ан нет...

Если у русского классика не восторгается зло – он просто спать спокойно не сможет!

Господа мои, а ведь был генерал Скобелев, хирург Пирогов, инженер Можайский, изобретатель Лодыгин! Но подобные им персонажи с их конскими копытами в калашный ряд литературы не годились.

Чехов! Великий Чехов! И насчет денег вкладывать и преумножать понимал, и насчет женщин понимал, и талант был высоко оценен и щедро оплачивался. Но Ваньку Жукова ейной селедочной мордой – в харю, Варька удушила младенца и облегченно заснула, Ионыч превратился в бесчувственного циника и стяжателя, а уж пьесы!

Это Чехов, не умея писать длинные вещи, не владея интригой, не в силах свинтить сюжет, стал писать пьесы, в которых ничего не происходит. Если режиссер не выкрутит на основе пьесы спектакль, где выдаст на-гора то, чего в пьесе и не было – постановка провалится. Так Чехов стал родоначальником нового театра – в котором ничего на фиг не происходило: XX век, модернизм, экзистенциализм, вовремя. У Чехова там все протухает в собственном соку, в стоячем болоте. Они ничего не делают, ни на что не способны – они тоскуют и страдают. У них ничего не получается, мечты тают, планы не сбываются. Их хочется сдать в шарашку, в трудовую армию – в ежовые рукавицы, строем, десять часов работы, трехразовое питание, по воскресеньям увольнение в город. И они закричат об утраченной свободе – но запоют о счастье причастности к общему делу и труду, я вас уверяю!

А еще любовь. «Дама с собачкой». Медленно и печально, кровать скрипит, а сами плачут. Ничего не возможно. И еще эта фраза: «Человек рожден для счастья, как птица для полета!» Это ж надо так свистеть! Человек в русской литературе рожден для счастья, как гусь для духовки, как посуда для погрома, как вилка для глаза!

И в заключение – ну буквально два слова о Бунине. Иване Алексеевиче. Первом русском нобелевском лауреате в литературе. Певце «Темных аллей». И светлых воспоминаний. Но печальных.

Любовей было много – и все прекрасны – и все несчастны. Не в том смысле несчастны, что не взаимны – о, очень даже взаимны, и полны, и одарили массой счастливейших ощущений! Но кончились ничем, разлукой, бесплодно, навсегда. То чужая жена, то психопатка мать, то еще что-нибудь не слава богу. Никаких на фиг свадеб, семей, вечных союзов, рука об руку, жизненный путь... боже, о чем вы, какая пошлая проза, фи! Страдать! И еще раз страдать!

А вот шедевр русской и мировой новеллистики – «Легкое дыхание», потрясающий, любимейший мой рассказ. Прелестная шестнадцатилетняя гимназистка, юная грация, воплощение чистоты и невинности, только расцветшая женская красота. Пор-рочна! Растлена седобородым отцовским приятелем, любовница плебейского, некрасивого казачьего офицера, издеваясь дала ему прочесть свой дневник и была из ревности застрелена.

...Моя бабка в семнадцать лет стала сестрой милосердия в полевом лазарете, I Мировой. Были сестры милосердия в осажденном Крыму, в освобожденных от турок Балканах, на воюющем Кавказе. Кого-то из них ранило, кого-то иногда и убивало. Кто-то вышел замуж за выжившего раненого, которого выходили. Вот не интересовали классиков их образы и судьбы.

Русская классическая литература выковала образ злокачественного неудачника. Жертвы властей, общества, нравов, жертвы человеческого несовершенства и собственной слабости воли и характера. Этот образ растиражирован и вчеканивается в мозги.

И русская классическая литература может оказывать на человека то благое влияние, что делает его умнее и порядочнее: она глубоко копает жизнь и призывает милость к падшим, справедливость и милосердие проповедует.

Но! Более. Русская классическая литература может оказать – и оказывает, жить и так трудно – то вредоносное и разрушительное влияние на мировоззрение человека и на его характер, что она проникнута пессимизмом, депрессией, ее герои страдают всеми формами комплекса неполноценности, не хотят и не умеют бороться и добиваться цели, да и цели их ничтожны, если вообще бывают.

Здесь вид пропасти не вызывает мысль о мосте – но вызывает мысль о бездне. Все равно все хреново, все равно мир не изменишь, все равно все кончается провалом, все равно достичь счастья невозможно, все равно от нас ничего не зависит.

О! Был чернышевский Рахметов, но этот человек сделан из хлеба, мыла и гвоздей. Он настолько искусственный, придуманный, сконструированный, что никакого воздействия оказать не может. Сами спите на гвоздях. И стройте алюминиевый коммунизм. Увяли розы. Мысль хорошая, исполнение не дуже добре.

Всем спасибо, читайте на здоровье, но понимаете, во всех цивилизованных странах жалуются, что в основном молодежь вообще ничего делать не хочет, так вы ей еще Достоевского, а то у нас подростковый суицид что, перестал быть самым высоким в Европе?

Русская классика уже сыграла сто лет назад свою прискорбную роль в том, что интеллигенция кротко легла под большевицкого хама. Ибо он был – витален! решителен! добивался своего любой ценой! не боялся никакого зла!

Все простите, всем низко кланяюсь, но вот такая особенность есть в русской классической литературе, и о ней не принято говорить, даже обращать внимания на нее не принято. Кряхтим по жизни покорно, как бараны, а нас учат находить смысл и благолепие в страдании и покорности. Всем спасибо.

Золотые шестидесятые

Мы еще напились шампанского! Золотой выплеск веры, надежды и любви. Главное в Шестидесятых – у литературы и страны сияло будущее! Невзирая на. Лица и мечты были иной генетики.

Все начинается на самом деле раньше, чем становится явным. Литература шестидесятых, шестидесятников, новая послевоенная советская, литература расцвета Советской власти – началась не после XX Съезда КПСС. Но. Той чертой времени, с которой она зародилась, той точкой отсчета, следует вспомнить и считать знаменитую некогда повесть Ильи Эренбурга «Оттепель».

«Оттепель» была напечатана в 5 номере журнала «Знамя» за 1954 год и явилась знаменательной, пардон за дурной нечаянный каламбур. Это вполне нехитрое, скучно написанное произведение, в каноне соцреализма – дало, однако, название целой эпохе. То есть: писатель точно уловил ветер эпохи и обозначил его. Сталин умер, страх ослаб и прошел, гайки приотпустили, запах надежды и воли в щели вошел, дух воспрял у людей и надежды распустились, как почки, стало быть, в оттепель. Но не весна, заметьте, не весна! Только оттепель! Мудр был старый битый Эренбург, тертый-крученный...

Повесть-то крайне нехитра: ну, инженеры, ученые, производство, новаторы-консерваторы, ретрограды и радетели за новое и прогрессивное, все патриоты. Но уже бывшие классово чуждые не осуждаются, уже эмигранты не клеймятся как враги, уже в Париж хоть кого-то выпустили в поездку (боже мой, кого ж это в те времена в Париж пускали, кроме Эренбурга и горстки избранной элиты от науки и культуры, витрину официального СССР, так сказать).

Но главное что? Что было сказано, напечатано, обозначено: теперь, после смерти Сталина и расстрела Берии все будет иначе: свободнее, справедливее, перспективнее. Вот это было как рассветный крик петуха после ночи тяжких ужасов.

И вот проходит еще год – и происходит знаменательнейшее в советской литературе событие: с 55-го года начинает выходить журнал «Юность». Пробиватель его и первый главный редактор – Валентин Катаев. А Катаев был человек крутой, крепкий, весомый. С властью ладить умел, а свое гнул. Доброволец-окопник первой мировой, прапорщик военного времени, офицер белого бронепоезда в Гражданскую, посадки и расстрела избежал загадочным образом, из одесситов – той, славной одесской генерации Олеси и Бабея, Багрицкого и Ильфа, и так далее. Этот своего добиваться умел, за чем бы ни тянулся. И талантлив был!

А вот в начале 1956 и происходит XX Съезд КПСС, осуждающий культ личности Сталина! И он воспринимается как разрешение свободы, отмена репрессий, новые вольные перспективы, ну и для литературы в том числе. Они потом себя недаром детьми XX Съезда назовут, это великое было событие для страны, судьбоносное, что называется.

И в 1956 году после этого «Юность» публикует повесть Анатолия Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского». Студенту Литературного института Гладилину исполнился 21 год. И это был грохот. Это было событие эпохальное в литературе. С него начался отсчет литературы новой. Потом ее назовут «городской прозой», «иронической прозой», иногда даже «новой советской прозой», «новой современной прозой» и так далее.

Вещь обычная и нехитрая. Понимаете, впервые в советской истории количество выпускников десятилеток заметно превысило количество мест на первые курсы институтов. Впервые возник конкурс при поступлении! – раньше-то поступали все желающие с дипломом за десять классов, хоть как сдавшие вступительные экзамены. И это была значительная подвижка в жизни городской молодежи.

Появилась в больших городах прослойка образованной молодежи с амбициями, которая не поступила в институты, но не хотела идти в обычные работы и имела повышенные куль-

турно-социальные потребности. Они старались следить за «западной» модой, «западной современной» музыкой, быть в курсе книжных новинок неофициального спроса и тому подобное.

А кроме того – у них был подвешен язык. Они предпочитали говорить иронично, с напускным цинизмом, подкалывая старших и друг друга. И главное, самое главное – они уже выскочили из-под непреодолимого пресса сталинской пропаганды и смели высказывать сомнения в поучениях старших товарищей, они уже открыто могли не очень доверять официально-патриотической трескотне, всей этой традиционной советской демагогии.

И вот вполне обычный парень Виктор Подгурский – он такой вот. И он становится первым героем новой генерации! Кумиром читающей молодежи! Впервые говорят: «Ну наконец-то! Вот это про нас! Он как мы! И говорит как мы, и думает как мы, и желания у него как у нас!»

Потом Анатолий Тихонович Гладилин напишет «Дым в глаза» – судьба современного парня, волей волшебника получившего то, чего он больше всего для себя хотел – и что из этого вышло. Про футболистов эта повесть, кстати. Потом – уже в шестидесятые – в «Юности» же выйдет его замечательный роман «История одной компании» – жизнь друзей с шестнадцати до тридцати лет, судьба повзрослевшего поколения, разные судьбы тех, кто держит на себе страну – от ученых до слесарей.

А потом в серии «Пламенные революционеры» выйдет книга неожиданная и удивительная: «Евангелие от Робеспьера». Попытка постичь суть и смысл революции, пожирающей всех своих детей, всех самых самоотверженных и талантливых, которые убивают друг друга, и на смену приходит диктатор, а кончается все сытой и благополучной протухающей буржуазной республикой. Горькая книга о бессмысленной трагедии революций. Читали про Францию – а понимали-то и про СССР...

А в глухове семидесятые, в 76 году, родоначальник новой советской прозы Анатолий Гладилин эмигрирует, уедет в Париж, где и проживет всю вторую половину жизни. Я буду иметь счастье познакомиться с ним на юбилее Аксенова, в поездке в Казань, в застолье, в узком кругу, и перейти на ты, и гулять вдвоем, и сделать большую беседу на радио – и так никогда и не опомнюсь, что Толя Гладилин, который всего-то теперь на тринадцать лет старше меня – тот самый, прославленный и великий далеко наверху, которого я школьником вслух читал классу на перемене, это было про нас, наши мысли и желания, нашим языком, и мы пивались каждым словом.

Н-ну, а в 57-м году состоялся Московский международный фестиваль молодежи и студентов, все флаги в гости к нам, про родившихся потом разноцветных «детей фестиваля» мы не будем – а будем мы о водоразделе уже, после которого могучим валом пошла новая жизнь, и в ней – новая литература. Наши столичные ребята нюхнули иностранцев живьем! Стиляги появились! Сфарцованные тряпки появились! «Центровые» – это были именно модные, стильные, современные, с передовыми вкусами и взглядами. А «тундра» – остальное советское население, носившее черт-те что и не знавшее насчет Пресли.

Еще что чрезвычайно важно: стали издавать книги! То есть не только совковую лабуду про сталеваров и агрономов, написанную бездарными секретарями писательских организаций. Есенина и Александра Грина стали издавать, фантастику Александра Беляева, и даже серый десятитомник «полуразложившегося религиозного мистика» Достоевского с разгону выстрелили. Но еще и самое, наверное, главное – массовыми тиражами пошли три «не наших»: Джек Лондон, Хемингуэй, Ремарк. Джек Лондон стал самым массовым и читаемым – и этот дух свободного индивидуализма и мужества, когда сам отвечаешь за все, этот дух навсегда пропитал весьма широкие слои населения – не прямо, так косвенно. Джек Лондон, которому посчастливилось в СССР тем, что а) о нем хорошо отзывался Ленин; б) он был социалист и за рабочих против буржуев; в) он умер до 1917 года и не сказал ничего плохого про Октябрьскую революцию и СССР, – этот Джек Лондон был скрыто антисоветским писателем: за индивидуализм,

самосуд, личное обогащение, право на оружие и частное предпринимательство, авантюризм и путешествия по миру свободно. Плюс торжество белой расы. 58-я статья, 10 лет без права переписки! А его наштамповали миллионов двести, за тридцать-то лет после Сталина.

А «Три товарища» и «Фиеста» стали книгами культовыми для всех интеллектуалов. И. Они очень повлияли не только на мировоззрение и манеру поведения. Они очень сильно повлияли на литературный вкус, на манеру письма, – Хемингуэй прежде всего, конечно. Ему подражали, на него ориентировались. Про его портреты в комнатах вспоминали уже все, кому не лень: мужественный красавец-старик с седым чубом, два варианта: в грубом морском свитере или в кремовой рубашке с оборками.

...Итак, появляется куда как нехитрая повесть молодого врача Василия Аксенова «Коллеги»: про молодых же врачей. Три друга (кстати о Ремарке), самый лучший – в сельскую больницу, простых людей лечить. О, все они сознательные советские люди, правильные идеалы – но у них и говорок современный городской, с элементами молодежного сленга, и выпить могут, и в морду дать, а вот высоких слов чуждаются.

А через пару лет в той же юности – вещь знаковая: «Звездный билет». Опять же три друга, но уже вчерашние школьники – ищут свой путь в жизни. Кто рыбу шкерить от эстонского рыбколхоза на Балтике (ну, в океан-то на траулере сложнее пойти, оформиться в заграничное плавание дольше и проблематичнее, а Эстония – это малая советская заграница была). Кто в спорт хочет, кто в кино, и любовь с трагедией и разлукой перед новой встречей, и старший брат-физик-оборонщик погибает, и дом их на Арбате сносят – новая жизнь наступает, юность кончилась. И эти мальчишки, так спорящие с отцами, отрицающие родительские ценности, над всем посмеивающиеся – на деле хорошие надежные люди, хотят смысла в жизни. Вот только найти его нелегко...

После публикации «Звездного билета» раздался грохот неимоверный. «Поколение получило свой язык», напишут позднее критики.

После публикации «Звездного билета» Аксенов стал лидером новой генерации писателей и оглушительно знаменит. Он мне рассказывал: «Окончание, вторая часть, была напечатана в седьмом номере, он вышел в начале августа, такой в оранжевой обложке. А мы как раз в Таллин приехали, и вот вылезли на пляж в Пирита. И вот тогда я увидел, что, кажется, прославился: вот честное слово, весь пляж в этих оранжевых обложках, все лежат и читают, тираж-то у «Юности» большой был...»

По «Коллегам» и «...билету» были сняты приличные фильмы со звездами экрана, их все видели, знали.

После публикации «Звездного билета» Катаева сняли с главных редакторов журнала. Это 61-й год. Шесть лет он держал свой бастион «Юности» против партийной швали, пока не свалили.

Еще у Аксенова были несколько десятков блестящих рассказов, штучных, отточенных, блестящих, с индивидуальными вывертами: «Папа, сложи», «С утра до темноты», «Дикой», «Катапульта», «На полпути к Луне», «Завтраки 43-го года», «Товарищ красивый Фуражкин» – и рассказ, который он ставил особняком: «Победа». Каждый из них заслуживает отдельного разбора, новеллистика Аксенова – это как минимум отдельная лекция.

А в 1968 – год наших танков в Праге – Аксенов публикует в «Юности» же гениальную повесть «Затоваренная бочкотара». Масса споров, масса критики – текст настолько чист, точен, ироничен, это такой издевательский гротеск, что официоз не мог решить, как надо реагировать.

Но шестидесятые уже кончались, роман «Поиски жанра» вышел в 1972, а «Остров Крым» считается написанным в 1979, но о публикации его в СССР речь идти и не могла, конечно. Отрывками я опубликовал его первым с Союзе в 1987 году, чем гордился, в журнале «Радуга» в Таллине я тогда работал, уже начиналась перестройка.

А Аксенов в 1980 уехал в США читать лекции, был лишен советского гражданства, и начался новый этап биографии. «Ожог», «В поисках грустного бэби» – это уже эмигрантская литература на русском языке – там уже другой воздух, иное свечение стиля. С начала 90-х он вернулся в Россию, хотя не совсем – оставив преподавание, купил домик в Нормандии, половину времени проводил там, там в основном и писал в уединении: «Московская сага», «Вольтерьянцы и вольтерьянки»...

Двух писателей поколения ставят обычно рядом с Аксеновым и Гладилиным. Во-первых, это Юрий Казаков.

Я помню, как после девятого класса, летом, я сидел дома в кресле, ноги на стул, и читал «Голубое и зеленое», рассказ в одноименной книге. И пил холодное молоко. К концу страницы я снял ноги, отодвинул молоко и читал, боясь, что кончится, и всячески оттягивая конец. Это было не просто про меня. Это было про мои чувства, мои мечты и терзания, мои надежды и разлуки – моими словами, моими выражениями. Такого ощущения я не испытывал никогда в жизни – никогда у меня не было больше такого ощущения полного совпадения с героем, абсолютной моей тождественности с ним. Когда я закончил чтение – я понял, что боялся дышать, пока читал...

Я и сейчас думаю, что этот рассказ у Казакова – лучший. Хотя, на чей вкус, я понимаю. «Адам и Ева», «Трали-вали», «Манька» – замечательные, потрясающие рассказы. Казаков писал абсолютно традиционно и внешне очень просто, в манере изложения давно отметили бунинскую традицию – легкое дыхание свободно построенной фразы, которая может быть простой, короткой и даже грубоватой, но регулярно автор словно забывает остановиться, и фраза течет длинная, многооборотная. И все его рассказы лирично-печальны, всегда в них элемент разлуки, несбывшегося, не могущего состояться. Легки и наслаждают в чтении, как родниковая вода, простите уж столь банальный оборот, но иногда и он правда. Языковой слух Казаков имел тончайший и редкостный, гармония сопряжения слов изумительная, естественная, вроде сам собой рассказ идет.

Страшно интересен и выдается из ряда рассказ «Проклятый Север»: два мурманских моремана-рыбака, штурмана, отдыхают в весеннее межсезонье в Ялте. Делать нечего, деньги есть, они расслабляются по кабакам не просыхая. Между делом посещают дом-музей Чехова, ну, они слегка слишком интеллигентны для тех разговоров, но это не важно. Рассказ абсолютно бессюжетен: воспоминания о северных зимних штормовых морях, разговоры об оставленных женщинах, и все это сквозь алкогольный флер: «Слушай, поедем с тобой завтра, а?.. – Куда? – В этот... – В какой? – Ну, в этот!.. – Да куда ты хочешь?.. – А, да черт с ним, куда-нибудь!..» Рассказ ни о чем – и обо всем главном в жизни: любви, работе, смерти и вечности, славе и смысле жизни, будущем и забвении. Изумительно! И интересный сплав Казакова и Хемингуэя, это его канва, его доворот на мир.

Любили Казакова все, человек был прекрасный, признание принесло деньги, и водка унесла все. Постепенно перестал писать, в пятьдесят пять лет умер от пьянства. Трагичная и нередкая история...

И после появления в 57 году повести «Продолжение легенды», там рабочие строят плотину в Сибири, ГЭС очередную огромную, но как-то современно, с огоньком преодолевая недостатки и разговаривая нормально они ее строят, Анатолия Кузнецова, ее автора, тоже стали критики ставить в первый ряд молодежной прозы. Но с Кузнецовым вышло хитрее.

В 66-м году вышел в «Юности» его роман «Бабий Яр»: жизнь в оккупированном Киеве вообще и расстрелы евреев в частности. Роман прошел цензуру, был купирован, с огромным интересом и уважением за тяжелую и практически запретную тему читался. Видите ли, геноцид евреев гитлеровской Германией и вообще Холокост в СССР не то чтобы не признавался, но был практически запрещен к упоминанию. Единственно допускалась государственная точка зрения, что гитлеровцы уничтожали вообще «советских граждан», военнопленных, русских и

вообще славян, всех они ненавидели и хотели поработить и в значительной мере уничтожить: и евреи в этом ряду жертв отнюдь не являлись никаким исключением. И что их уничтожали поголовно по принципу национальной принадлежности, и под «решением еврейского вопроса» понималось уничтожение всего народа целиком и полностью – об этом говорить было запрещено.

Единственное было в таком роде тогда произведение. Ну, а в 1969 году коммунист Анатолий Кузнецов, секретарь Тульской писательской организации и член редколлегии журнала «Юность», поехал в Лондон собирать материал для книги о Ленине. Возможно, детали ленинской жизни были ему дороги, а только в Лондоне он остался. Насовсем.

Ну, книги его отовсюду изъяли, фамилию везде вычеркнули, упоминать запретили – как положено. В 79-м году, 49 лет от роду, там и умер.

Еще был один нестандартный писатель сам по себе. Но тоже из, условно говоря, направления «Юности», группы «Юности». Надо понимать – «Юность» имела свое лицо, свои предпочтения, свою идейно-стилистическую направленность, так сказать. Там печаталась интеллигентная литература свободомыслящих людей, которые умели писать не просто хорошо, но еще и легко и современным языком; и писали они также в основном об интеллигентных людях, их жизни и проблемах. Я очень примитивно сейчас передаю суть дела, но это чтобы вы поняли: это журнал прогрессивно мыслящих и эстетически продвинутых людей, критически относящихся к отдельным недостаткам окружающей жизни, любящим пошутить и принимающим новые веяния, так сказать. Людей городских профессий и места жительства.

И вот Борис Балтер, предвоенный выпускник военного училища, бывший офицер, разведчик, фронтовик Финской и Отечественной войн, в 1962 году печатает в «Юности» крайне простенькую, ностальгическую повесть о трех друзьях в причерноморском городке. Они кончили школу, попрощались с девушками и родными, и поехали в военные училища. Нежные чувства юности, предвоенный курортный быт, разлука. Все.

«До свиданья, мальчики» называлась повесть. Успех ее был оглушительным, огромным, даже непонятым. А за душу брала.

Подтекст был колоссальный.

Потому что потом была война. И всем их надеждам и планам не суждено сбыться. Это поколение сгорит в огне Великой Отечественной. И вытянет ее страшный груз на себе, оставив по себе только память. И вот мы вдруг касаемся этой обнаженной памяти. Этой мирной, трогательной, юношеской, чистой и доброй, ну, интимной, человеческой изнанки поколения, которое завтра погибнет в окопах – страшно погибнет, жестоко, кроваво, героически, – но сегодня-то они ничего этого не знают, живут счастливым будущим.

Это попытка осмыслить свою счастливую предвоенную юность, которую они оплатили своими жизнями. Попытка осмыслить великую и трагическую судьбу поколения, которое было таким обычным, нормальным, уязвимым, семнадцатилетние обычные хорошие мальчики со своими мечтами.

Видите ли, критики, по-моему, не отмечали. Вся книга держится на четырех маленьких, по несколько фраз, лирических отступлениях. Они – это воспоминания о будущей судьбе этих мальчиков, взгляд из сегодняшнего дня – постаревшего, одинокого, усталого человека, единственного оставшегося в живых из них.

«Где ты Инка? С кем ты? Через три года я уже пил. Но не коньяк, а простую водку, на финском фронте. Полагалось по сто граммов, но в приказе не говорилось, сколько раз. Ротные строевые записки подавались накануне, а назавтра многих уже не было, и мы пили их сто грамм. А вот бриться каждый день я не мог. Кожа на лице выдерживала зной и сорокаградусный мороз, жгучий ветер и режущий снег. А ежедневного прикосновения бритвы не выдерживала. И каждый день я душился одеколоном «Красная маска», пока он не исчез перед войной.

Всю жизнь я хотел быть похожим на того летчика, которого в глаза не видел. Это в память о тебе, Инка...»

Или:

«Я многое в жизни терял, но нет ничего страшнее смерти близкого человека. Витьку убили восьмого июля тысяча девятьсот сорок первого года: батальон, которым он командовал, вышел из контратаки без своего командира. А Сашка умер в тюрьме в тысяча девятьсот пятьдесят втором году: не выдержало сердце. Это случилось после ареста в Москве многих видных врачей. Сашка был тоже очень хорошим врачом-хирургом».

Мы видим их настоящее и знаем их будущее, мы воспринимаем их непосредственность через горькую мудрость старости – и это рождает удивительную объемность повести, многоплановость времен и смыслов.

...Но все-таки главный литературный бум 60-х пришелся на поэзию. Это 1956–1968 годы, если пытаться определить границы. Границы эти условны, размыты, но смысл понятен: от XX Съезда до Пражской весны. От момента, когда Хрущев объявил осуждение культа личности Сталина и «возвращение к ленинским нормам» – то есть кончаем с репрессиями и заботимся о народе, – и до подавления чехословацкой бархатной революции с ее попыткой создать «человеческое лицо социализма», тут в СССР все гайки стали закручивать.

Вот основные имена в прозе мы назвали, но еще более значимыми были имена в поэзии, и первым из них было имя Евтушенко. Ну да, имя Евгений, Евтушенко фамилия.

Евгений Александрович Евтушенко был человек энергии неукротимой, его поэтический напор преград знать не хотел. Его выгоняли из школы, он с 15 лет работал, с 17 печатал стихи в газетах, в 20 лет он выпустил первую книжку, первый сборник стихов, и был принят в Союз Писателей СССР – самый молодой, юный, уникал, исключение, вундеркинд! Заметьте – год стоял на дворе 1952 – мрак полный! Сталин был еще жив! Еще готовился процесс «врачей-убийц», выселение евреев, расстрел Берии, Авакумова и еще массы значимых фигур из «органов» был впереди, еще все всего боялись – а двадцатилетнего поэта, автора спортивных, лирических и патриотических стихов Женю Евтушенко приняли в Союз писателей! И сделали, кстати, его комсоргом. Много ли комсомольцев было в этом заповеднике рептилий.

Маленькое, но необходимое и крайне по теме отступление про Союз писателей СССР. Он был, стало быть, образован в 1934 году как Государственное Министерство литературы, управляемое Коммунистической Партией. Строем, по приказу, согласно методу социалистического реализма. Блага и льготы дачами, изданиями, гонорарами, поездками. Но чтоб писали что надо и как надо! Ну, потом время репрессий, потом война, и вот тут принимали новых членов СП не очень, а старые старели, умирали, гибли в лагерях и на фронте, от болезней и водки, – и ряды редели, редели!.. В послевоенные годы в СП очень мало принимали, да и некого было, книг-то почти не издавали.

А вот по следам XX Съезда тут же сказали: «А где у вас, товарищи, молодая смена? А кто будет внедрять в массы идеи коммунизма через литературу? А почему так хреново работаем с молодежью, что нет никого? А книг почему мало издаем?! Воспитывать молодых строителей коммунизма, вам сказано, а вы вообще чем занимаетесь?..»

То есть товарищей партийных кураторов литературы подскипидарили, и они завертелись: издавать больше! быстрее! в Союз писателей принимать молодых активнее! больше! И вот уже книги стали во второй половине пятидесятых выходить за полгода (фантастика для СССР!), и в Союз писателей стали принимать по одной книге, а иногда даже по журнальной публикации! Началось сказочное, вскоре ставшее мифическим время для советских писателей: жизнь была легка, быстра, лучезарна, деньги сыпались, слава сияла, возможности ослепляли! Пришла в СП новая генерация – молодая, мощная, талантливая, многочисленная. И она верила в коммунизм, вот что характерно! Затем и принимали...

...Так вот я хотел сказать, что железнотаранный юный двадцатилетний Евтушенко, без всяких связей, волосатых лап, покровительств – издал книгу и вступил в СП. Пусть не лучших стихов, сам потом их критиковал – но он уже принял накат. И когда отворили шлюзы – с Евтушенко и начался большой грохот в поэзии. К 1960-му году у него было уже шесть (шесть!) сборников стихов, и когда в «Юности» – журнал журналов, витрина новой литературы – появилась подборка с его программными и прогремевшими «Постель была расстелена, и ты была растеряна, и спрашивала шепотом: «А что потом? А что потом?...» и «Нигилистом»: «Ходил он в брючках узеньких, читал Хемингуэя. Вкусы, брат, нерусские, внушал отец, мрачней», – Евтушенко определился как Номер первый в новой советской поэзии. Это был гамбургский счет, оценка широкой читающей публики. И это приводило в бешенство как официальную критику всех направлений – так и менее преуспевших коллег. Не считая друзей своей генерации.

Имя «Евтушенко» стало в то время почти нарицательным при обозначении современных поэтов. Слава была не просто оглушительной – небывалой в истории. Прошу повторить и задуматься: небывалой в истории.

Что характерно: он одевался, наверное, ярче всех в Советском Союзе. Вообще это было еще время стилинг, и молодые литераторы свою оппозиционность кондовой советской традиции проявляли во всем: и в манере разговора, и в принципиальной творческой антипафосности, ироничности, честности, – и в манере одеваться. В своей первой загранпоездке в Лондон молодой Аксенов чуть не весь гонорар за перевод на английский грохнул на какой-то баснословно дорогой модный пиджак, больше ни у кого в Москве такого не было (все равно гонорары почт целиком ВААП отбирал в фонд государства). Ну так Евтушенко был вне конкуренции: какие-то необыкновенные яркие рубашки, невероятно пестрые пиджаки, шейные платки «вырвиглаз», массивные перстни, – с его ростом и сухощавой фигурой это было просто среднее между парадом мод и цирком попугаев. Но он при этом был естественным! Он ужасно любил жизнь во всех ее проявлениях, он воспринимал ее как праздник! И ведь как писал, дьявол...

С начала 60-х пошли сборники «Нежность», «Взмах руки», «Катер связи», и там было буквально тесно от шедевров, простите за малоприличный и даже банально-туповатый такой оборот.

Здесь вот еще какую вещь необходимо упомянуть. Высокообразованным людям с тонким художественным вкусом не полагалось любить Евтушенко. Полагалось любить и ценить как высокую поэзию Пастернака, Мандельштама, Ахматову и Цветаеву. Это устоявшаяся обойма Поэтов с большой буквы. Любовь к ним – показатель твоего собственного вкуса. А «Евтух», как его фамильярно называли и фанаты, и недоброжелатели, был как бы по сравнению с ними примитивен, простоват, дубоват, лобовой какой-то, и вообще слишком шумный и саморекламистый. И учтите, и поймите, а если сейчас не поймете, то прошу запомнить, и, возможно, удастся понять позднее: все мнения любой тусовки – это конформизм, корпоративная оценка, отсутствие собственного мнения, примитивность и неразвитость собственного вкуса, который не может сам, самостоятельно оценить произведение – и для самоуважения присоединяется к господствующей оценке авторитетов своей группы, которым хочет подражать и быть компетентным и значительным в их глазах.

Евтушенко писал: «Есть прямота – как будто кривота, она внутри себя самой горбата, пред нею жизнь безвинно виновата за то, что так рисунком непроста». Он писал: «Чтоб какая-то там дама – сплошь одно ребро Адама – в мех закутала мослы, кто-то с важностью на морде вновь вбивает нам по Морзе указания в мозги». Это его гениальные «Военные свадьбы»: «О свадьбы в дни военные, обманчивый уют, слова неоткровенные про то, что не убьют... Летят по стенам лозунги, что Гитлеру капут, а у невесты слезыньки горячие текут... Походочкой расслабленной, с челочкой на лбу, вхожу, плясун прославленный, в гудящую избу... Невесте горько плачется, стоят в слезах друзья. Мне страшно. Мне не пляшется. Но не плясать – нельзя». Это, вы знаете, одно из лучших в русской поэзии о роли искусства и ответственности

художника, если так вдуматься хоть капельку. «Тревоги наши вместе сложим, себе расскажем и другим, какими быть уже не можем, какими быть уже хотим», – это не про нас сейчас, нет?.. «Другие мальчишки, надменные и властные, придут, сжимая кулачонки влажные и, задыхаясь от смертельной сладости, обрушатся они на ваши слабости».

Еще он написал «Бабий Яр» (не путать с романом Кузнецова, который появился позднее). «Над Бабьим Яром памятников нет. Стоит гранит, как ржавое надгробье. Мне страшно. Мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу». Грохот был страшный. Стихи практически запретили. Их перепечатывали, передавали в списках. Евтушенко громили, критиковали, учили, как писать о войне правильно.

Он был хороший поэт, Евтушенко, истинный, и он умел давать силой простой, вылепленной, выбитой фразы – давать смысл как веер глубин, как дверь в бесконечный мир. Больше никто не собирал стадионы, чтоб стадионы слушали, как поэт читает стихи. Не было этого и не будет. Больше никого из поэтической братии – лично, его, одного, поэта! – не будет принимать официально в своей резиденции президент США. Больше никто не объедет со своими стихами весь мир, сотню стран.

Но был поэт более формально яркий и поэтически нахальный, так сказать – звезда этого же ранга Андрей Вознесенский.

Здесь необходимо сказать несколько слов о шестидесятниках как поколении. Это все были ровесники – 1932–35 годов рождения. Аксенов, Гладилин, Евтушенко, Вознесенский – это все одна генерация, одна волна. Понимаете, когда через год-два после XX Съезда, после Московского фестиваля молодежи и студентов, народ поверил, что теперь действительно новая жизнь, действительно не сажают, действительно можно делать свободно что хочешь (ну, в рамках коммунистического мировоззрения, но все равно это был колоссальный рывок как сжатого газа из шара в свободную атмосферу) – и главное чиновники тоже свыклись с новым положением, и стали меньше бояться и больше позволять, – понимаете, как-то очень быстро раздвинулись границы дозволенного, и это резкое расширение пространства и создало иллюзию свободы. И вот те талантливые, которым в этот момент было двадцать три – двадцать пять лет, то есть возраст вхождения в главные дела жизни, возраст зрелой молодости, возраст, в котором приступают к главным делам своей жизни, возраст максимальных сил и надежд, веры в себя и в жизнь – вот генерация талантов этого возраста вошла в литературу разом, как волна, как когорта, как македонская фаланга, сметающая все, как цунами. О, это было небывалое явление!

И первый спутник советский, и первый космонавт советский Гагарин, и громкая кампания освоения Целины еще не закончилась, и «черемушки», эти типовые дома для народа, впервые в жизни советской с отдельными квартирами для каждой простой семьи, и из лагерей вышли те, кто остался на тот момент в живых – вот все это рождало атмосферу небывалого исторического оптимизма. Искреннего оптимизма, массового! И прежде всего – среди образованной молодежи. А поколение взошедших звездами шестидесятников – это было образованное городское поколение молодежи.

И тот, кто делил с Евтушенко поэтический трон, вечный соратник-соперник – это Андрей Вознесенский. Писавший стихи какие-то необыкновенно красочные, безумные, яркие, неожиданные, прибегая к сравнению в живописи – какой-то кубизм в поэзии, экспрессионизм, сильнейшие красочные впечатления через набор ударных деталей, несочетаемых образов:

«Автопортрет мой, реторта ночного неона, апостол небесных ворот – аэропорт!»
«Несутся составы в саже, их скорость тебе под стать, в них машинисты всажены, как нож по рукоять!» «Я – Гойя! Глазницы воронок мне выклевал ворон, слетая на поле нагое. Я – Горе...»
«Есть у меня сосед Букашкин в кальсонах цвета промокашки, но как воздушные шары над ним горят Антимир!» «Кому горят мои георгины? С кем телефоны заговорили? Кто в костю-

мерной скрипит лосиной? Невыносимо!.. Невыносимо горят на синем твои прощальные апельсины. Я баба слабая, я разве слажу. Уж лучше сразу».

В мастерстве чтения своих стихов равных Евтушенко не было. И в мощном сочетании современных проблем с исконным народным духом в поэзии – он тоже был, наверное, номером первым. Но по яркости слова, по яркой контрастности и силе уникальных поэтических сочетаний, по мощи поэтической вибрации, ну, поймите оборот, – тут Вознесенский был номером первым.

В этом ряду необходимо назвать коллегу двух вышеупомянутых – Роберта Рождественского. Писал резкие, мужественные, современные стихи; было в них что-то сурово-милитаристское, и что-то от Маяковского, что-то такое городское, асфальтовое, бетонное, гитарное, автомобильное. При этом патриотическое такое – но без слюнявого пафоса, а вот так как-то резко-просто-душевно патриотические стихи у него были. Но по прошествии времени оказывается, что главными у Рождественского остались те стихи, которые стали текстами песен. А этих текстов много, и их знали в Советском Союзе абсолютно все, они звучали везде, многие и сейчас помнятся.

Начиная с «Семнадцати мгновений весны»: «Не думай о мгновеньях свысока» – титры-то народ редко читает, особенно авторов текстов песен и тому подобный технический персонал. А это Роберт Иванович Рождественский. «В этом мире, в этом городе, там где улицы грустят о лете, ходит где-то самый сильный, самый гордый, самый лучший человек на свете...» – пела со своим неповторимым акцентом Эдита Пьеха с ансамблем «Дружба», так ведь вся страна это знала, и хотела слушать еще. Мы смеялись по поводу войн и взрывов: «А город подумал – ученья идут!» – а ведь стихи были отличные, и песня отличная, хотя это еще далекий семидесятый год – но прочтите сейчас, послушайте: это осталось.

Из всех поэтов новой волны Рождественский быстро стал как-то самым патриотичным и официальным. Из них никто в годы своей славы не бедствовал, но, как вы понимаете, за исполнение песен всеми ансамблями страны автору капали деньги, которые за книги не снились. И вот несчастный в брежневском Советском Союзе случай: абсолютно официальные советско-патриотические стихи-песни были реально хорошими или очень хорошими. «Пьют зеленое вино, как повелось... У обоих изменился цвет волос. Стали волосы смертельной белизны. Видно, много белой краски у войны...» «Мы – дети Галактики, но самое главное – мы дети твои, дорогая Земля!..» – это тоже ведь Рождественский.

Ну, в плане добавить немного веселья длинной лекции, где ведь речь у нас о материале на самом деле легком, веселом, молодежном, оптимистичном – и еще один текст. Все бывает. И на старуху бывает проруха. Причем эту проруху исполняли бессчетно раз всеми государственными оркестрами, особенно в День космонавтики. Это нечто в качестве стихов совершенно чудовищное: «Вы знаете, каким он парнем был? Как на лед он с клюшкой выходил? Он сказал: «Поехали!», он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской пронесся над Землей». А вот вы спойте! И ритм, и рифма, и поэтическая свежесть и сила – вызывают подозрение, что голова трещит с похмелья (во рту эскадрон ночевал), аванс давно пропит, а текст надо сдать через полчаса, и по этому поводу на языке только заплетающийся мат. И вот пишется эта совершеннейшая графомания, галиматья, которую неудобно читать и которая вызывает нездоровый хохот. Я на самом деле очень люблю этот текст как такой интимный маленький краешек слабой и несовершенной музыки поэта, в смысле с музой все в порядке, но она тоже может с утра себя плохо чувствовать и удалиться ненадолго по надобности. Здесь какая-то очень живая человеческая слабость, человеческое несовершенство, которое увеличивает доверие и симпатию к поэту – тоже живому человеку, понимаешь...

Окуджава! Булат Шалвович Окуджава! Об его песнях мы будем в основном говорить в другой раз, хотя его поэзия от песенного ее воплощения, песенного исполнения самим автором – неотделима. Окуджава – он чуток постарше будет, с 1924 года. Фронтовик, учитель,

сотрудник областной газеты, в конце 50-х перебрался в Москву и как-то мгновенно и органично вошел в авангард современной советской поэзии. Понимаете, он был ни на кого не похож – тощий, рано лысеющий, типичной грузинской внешности, с необыкновенным тембром голоса и вечной гитарой. Он очень обогащал компанию. И он стал выступать под гитару первым, когда это еще не было общепринято, не было обычно. Нравился он страшно.

Понимаете, сразу после войны он уже написал «Неистов и упрям, гори, огонь, гори, на смену декаблям приходят январь... Прожить ли так дотла, а там пускай ведут за все твои дела на самый страшный суд. Пусть оправдания нет и даже век спустя семь бед – один ответ, один ответ – пустяк...» Так больше писать никто не умел. Это пахло истинной поэзией – которую абсолютно невозможно пересказать прозой, которая вся как веер образов и смыслов, когда словосочетания приобретают характер символов и образуют некую эмоционально-философскую, рационально не могущую быть сформулированной основу.

И здесь Окуджава остался единственным и уникальным. «Вы слышите – грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки – вы поняли, куда они глядят. Вы слышите – грохочет барабан: солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, в туман, в туман – а прошлое ясней, ясней, ясней!.. А мы рукой на прошлое: вранье! А мы с надеждой в будущее: свет! А по полям жиреет воронье, а по пятам война грохочет вслед». Слушайте, да не было приличного человека сколько-то образованного, который не знал бы эти стихи, эту песню! Заметьте: еще и магнитофонов-то почти не было, а уж компьютеров таких даже фантасты еще не изобрели. То была слава живая: из уст в уста, что называется.

Знаете, Окуджава был истинный поэт: у него словно не было биографии, никаких скандалов, слухов, женитьб-разводов – ну полностью чуждая богеме репутация. И весь он – вот, памятник на Арбате: сядьте и выпейте за его столом. Одни стихи:

«Мой сын, твой отец лежебока и плут из самых на этом веку. Ему незнакомы ни молот, ни плуг, я в этом поклясться могу. Покуда бездомные шли на восток и участь была их горька – он в теплом окопе пристроиться смог на сытную должность стрелка...» «Вежливы и тихи, делами замученные, жандармы его стихи на память заучивали. Он красивых женщин любил любовью не чинной, и даже убит он был красивым мужчиной. Он умел бумагу марать под треск свечки. Ему было за что умирать у Черной речки!» Это, наверное, лучшие стихи о Пушкине во всей русской поэзии.

Он был гений, Окуджава. Просто человек воспитанный и деликатный. Тихий. Скандалов ему не доставало для репутации, не доставало шума, наглости, эгоизма – люди ведь иначе не понимают... Он себе цену знал, и внутри-то тихо переживал, это естественно. «А как первая любовь – она сердце жжет. А вторая любовь – она к первой льнет. А как третья любовь – ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке... А как первый обман – на заре туман. А второй обман – закачался пьян. А как третий обман – он ночи черней, он любви сильней, он войны страшней». Такие дела...

...И где были эти четверо – Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Окуджава – там была женщина, единственная и неповторимая, красивая и талантливая, с каким-то серебряным надрывом, простите мне эту литературную красоту – Белла Ахмадулина. Она одна такая была из поэтов, не стоял рядом с ней никто из женщин. Красавица, обольстительница, пьяница, поэт милостью Божьей. Да, когда-то в ЦДЛ – о, то были дни его блеска и славы, клуб легендарный и привилегированный, не для простых смертных – Белла, первая жена Евтушенко, и Галя, его вторая жена, могли для развлечения перепить любого мужика, пока он не падал под стол. Старожилы любовно хранили этот сюжет. Вот что значит гвардия. Прав был старик уже Евтушенко: «Попытки нынешних литераторов нападать задним числом на нас, шестидесятников, – это зависть уксуса к шампанскому!»

Каждый год, который кончается показом старой и уже просто родной «Иронией судьбы, или С легким паром», – звучат стихи двадцатидвухлетней Ахмадулиной: «По улице моей кото-

рый год звучат шаги – мои друзья уходят. Моих друзей мучительный уход той тишине за окнами угоден».

Осмелюсь заявить, что из поэтов этой генерации Ахмадулина – поэт наименее понятый... вернее, не так: ее поэзия в наименьшей степени поддается анализу и истолкованию. Наименее понятно, как ее стихи «сделаны», как устроены, чем «берут» читателя. Писали много о голосе серебряном и хрустальном, о применении архаичной лексики, о свежести неожиданных и неточных рифм как важном аспекте реформации стиха; о том, что она писала в традиции, идущей от Лермонтова, и Пастернака, и еще кого... И все это, простите, фигня. Ощупывание наружных форм. Поэтому для того, чтобы понять Ахмадулину как поэта, как поэтическое явление 60-х, нам придется всунуть в нашу лекцию такое вкрапление, сделать такое отступление, как

маленькая вводная лекция

О СУЩНОСТИ ПОЭЗИИ.

Начнем мы от печки – простите, я всегда так начинаю, не потому, что трафарет, или потому что идиот пытается объяснить для идиотов, а потому что если ты начинаешь ход рассуждений и анализа не от основы, а от какого-то уже продвинутого, известного всем сведущим людям пункта на маршруте – ты рискуешь начать движение после неверного поворота, сделанного до тебя. Итак:

Что есть поэзия? Поэзия – это когда говорят то, чего нельзя сказать прозой. Перескажешь в прозе – и суть поэзии исчезнет: настроение, эмоции, музыкальность, пафос, торжественность – это исчезнет: или вообще, или в значительной степени.

То есть?

Сейчас я безусловно избавляю вас от разговора о поэтике Аристотеля, Буало, Шлегеля, Лессинга, а также Веселовского и Потебни; даже о любимом моем ОПОЯЗе мы не будем говорить, ибо здесь сейчас не курс теории поэтики и ее истории. Но ежели кто вознамерится понять сущность поэзии и ее воздействия – должен будет получить соответствующее образование, и не методом сдачи экзамена в университете, это любой дурак делает, – но вдумчиво перечитывая и осознавая знаменитые, хрестоматийно известные труды упомянутых гигантов. Вдумываясь, пробуя на вкус и медленно осознавая.

Видите ли, ты только тогда можешь понять серьезные идеи в серьезном труде, если твое образование и твой интеллект будут хоть как-то сопоставимы с авторским. И еще: когда твои усилия по осмыслению книги будут соизмеримы с усилием автора, написавшего ее, затраты твоего времени и твоей умственной энергии на постижение будут соизмеримы с его усилиями, приложенными к пониманию проблемы и созиданию. А поскольку ты из другой эпохи и культуры, с другого дерева фрукт – тебе надо долго и добросовестно разогревать мозги и напрягаться, чтобы понять написанное. Так-то вроде понять это давно изученное легко – прочитал и понял, не дурак же. Так это фигня – ты должен въехать в систему взглядов Гумбольдта или Шлегеля, в их мировоззрение, в их культуру, должен осознать их круг чтения, их шкалу художественных ценностей. Влезть в их шкуру, увидеть проблему его глазами, проникнуться не только его чувствами, но всей его системой знаний.

Главное: ты должен не узнать и запомнить выводы гения, это ерунда, в Интернете сегодня все есть, – ты должен подняться до его уровня мышления, понять закономерность его выводов в аспекте причинно-следственных связей со всей окружающей и предшествующей проблематикой. Знать и понимать – вещи разные, все ведь слышали, да?

Короче, идеальный критик – это высококвалифицированный литературовед, исчерпывающе знающий теорию области искусства, в которой лежит анализируемый предмет. Н-но – идеал существует только в Ином Мире. А в этом – если хоть кто-то хоть что-то понимает – это уже праздник!..

Значит, на поверхности лежат формальные признаки поэзии: ритмическая и звуковая организация: стиховой ритм, стихотворный размер, рифмы и их чередование на концах строк. Здесь все просто понять.

Далее идут разнообразные преувеличения: гиперболы страстей, красоты, силы и так далее. Понятно. Наш вождь победил сто врагов, перед красотой моей дамы склонились сто принцев.

Далее – момент самый интересный и перспективный: метафоры. Всех видов. Кипящий негодованием взор. Не вдаваясь в виды метафор и их теорию, отметим главное: слова употребляются не в их прямом значении, но условно-переносном. Главное: берется два или несколько слов, каждое из которых имеет ясную смысловую нагрузку – и сочетаются не по прямому смыслу, а по эмоции от смыслов, впечатлению от смыслов! Железный характер. Тупая скотина.

Метафора – это вербальная система, семантико-эмоциональное содержание которой не равно, не адекватно простому сложению смыслов и эмоций составляющих ее слов. Взор не может кипеть – он нематериален. И негодование не может кипеть. А кипеть могут лишь жидкости. При высокой температуре. От сотни до тысяч градусов, когда уже металл расплавленный жидок.

То есть. Негодование, взор и кипеть – это слова из трех разных областей. Причем. Два слова означают состояние, не имеют вещественного смысла: негодование и взор. Это отглагольные существительные, от: негодовать и взирать. А кипеть – просто глагол.

Как надо сказать корректно, точно, для научного труда, скажем? «Посмотрел, причем по движению лицевых мышц и кровоснабжению подкожных тканей можно заключить о дискомфортном и агрессивном состоянии». Это точно. Но не интересно. Не эмоционально. Не вызывает сопереживания. Это можно сказать об обезьяне, собаке, хомяке, человеку – без разницы.

А если – увлечь, передать эмоции, вызвать сопереживание, зажечь, зацепить, потащить?

Во-первых, тогда мы спрямляем логические цепи. Из ряда корректных, точных слов выдергиваем ключевые. «Взглянул агрессивно».

Во-вторых, заменяем прямое корректное слово на стилистически окрашенный синоним: «недовольно», «гневно», «яростно», «негодующе».

В-третьих, заменяем найденный синоним на вербальный оборот с большей эмоциональной нагрузкой, и заодно смысловой, и заодно образной. Берем три слова, скажем, из трех разных областей – и сочетаем их чисто грамматически. Штеко будланула бокра. А что? Все согласовано. А если каждое слово будет иметь свой индивидуальный смысл? Блатной жаргон: ловко обманула богача. Э, так это один профессиональный уровень, не интересно, языков на свете много. А если взять слова из разных смысловых, разных предметных, разных ассоциативных гнезд? О: «кипящий негодованием взор».

Первый, кто так сказал, был великий поэт. Над ним смеялись, его поносили, оспаривали. Ему подражали и завидовали. Он сыграл великую игру: употребил слова не как знак вещи или явления – но сочетание принципиально разных слов употребил как принципиально новый оборот, который принципиально новым способом выразил сильное и яркое чувство. Раньше так никто не умел.

Сочетание слов как цельная семантико-эмоциональная единица, как контекстуально неразъемная вербальная система, поднялось на новый уровень: над-буквальный, над-конкретный, над-смысловой. Оттенки сближенных слов отсвечивали друг на друга, как на палитре, давая новую краску, новый цвет, которому нет названия в словаре, который существует на раз, штуечно, только здесь и сейчас.

Эти слова бывают несочетаемы в обычной речи – и их рассчитанное и искусственное соседство рождает массу чувств у читателя: это и память о смысле изначальном, и сравнение с ним смысла сейчасного конкретного, и противостоящие друг другу кусты ассоциаций этих двух значений, и вследствие этого резкое и сказочное, нереальное значение сейчасное, поэтическое. Что получается? Жутко объемный и многозначный смысл и эмоция, допускающий павлиний шлейф допущений и трактовок, карточную колоду вариантов.

Эмоциональная и образная выразительность встает за обычной метафорой. А вот дальше – сложнее и интереснее.

Силлабо-тонический стих может основываться на ясном и точном перечислении деталей: «В граненый ствол уходят пули, гремит о шомпол молоток». Может на индивидуальной интонации, это очень трудно, для этого требуется врожденный языковой слух на тонком музыкальном уровне: «Тогда расходятся морщины на челе, тогда смиряется души моей тревога, и счастье я готов постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога». (Простите, что я неточно цитирую Лермонтова, ну вот так оно со школы мне на душу легло.) Сильный ритм, тропы, изыски рифм, аллитерации – все это давно исследовано.

Но есть вещь еще одна. Степень метафоричности стиха. Степень абстракции вербальных сочетаний. И тем самым его многослойности, многомерности – изобразительной, эмоциональной, смысловой. В русской поэзии это направление (прием?.. традиция?..) восходит к лермонтовскому шедевр «Есть речи – значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно. Не встретит ответа средь шума мирского из пламя и света рожденное слово».

Н-ну – и о чем это? Об одиночестве души? Или одиночестве поэта? Или – что дело не в словах, а в том, что за ними, под ними – в чувстве? в настроении? в неясном пророчестве? О чуждости людей, толпы, мира – поэту и пророку, который верен только огню внутреннему и божественному и не подлаживается под них? Но: любая трактовка только обедняет истинную поэзию – подобно тому, как неуместна любая попытка переложить музыку в словесное содержание.

Истинную поэзию истолковать прозой невозможно. Такая штука. В ней присутствует элемент внерационального, надрационального, иррационального чувства и смысла. Это как минимум надо иметь в виду. Любая попытка прозаического (а какого же еще?) анализа поэзии – заведомо обедняет ее, примитивизирует, огрубляет. Ну, простите за красивое и отчасти неоригинальное сравнение – анализ поэзии как бы стирает узор пыльцы с крыльев бабочки, и после этой процедуры она уже не полетит – ковылять в пространстве будет.

«Что хочет сказать поэт этой фразой?» А чтоб ты сдох, хотел он сказать, со своим словарем и арифмометром.

...Вот от этого лермонтовского шедевра несказанного тянется тонкая ниточка к послевоенной советской поэзии – к знаменательному «Неистов и упрям, гори, огонь, гори» Булата Окуджавы. О чем это?.. О жизни, мля! О грехах и воздаянии, о скоротечности жизни и стоицизме, о снеге и об огне, много о чем. Все это стихотворение в целом – одна цельная, сложная, большая метафора.

Поэзия отличается от прозы принципиальным отсутствием изображения реальности в форме реальности. Поэзия – это метафора. Частичная, простая или сложная, но – метафора.

Поэзия – это не то, что написано. И не то, о чем написано. А нечто другое, стоящее за этим; под этим, над этим... Поэзия – это принципиальный подтекст, а вернее ведь сказать – надтекст.

Слова вырываются из словарных гнезд, из лексических связей, и из них, насильственно, искусственно, преодолевая их иммунное взаимоотношение, поэт изящно или брутально сбивает фразы, которые не могли бы появиться в языке естественным порядком. И эти фразы – как голубые тюльпаны, как выведенные трудами и фантазией селекционеров экзотические существа, поражают читательское воображение.

«Дыр бул шыл» – довел до абстрактного абсурда эту основу поэзии Крученых. Типа: достаточно и небывалого созвучия, со-словия.

(Ну, чтобы закончить: поэзия – это сильно неравновесная вербальная система, выражаясь языком синергетики.)

Итак. Поэзия как метафора второго рода, мегаметафора.

Зыбкость, многозначность, символичность и условность преходящего бытия – вот что разворачивается и встает за грамматической мозаикой слов из разных предметных, стилистических, смысловых рядов. Да, прежде всего просто эмоциональная, смысловая и образная нагрузка такого текста резко повышена.

...Вот и все, что следует понимать о поэзии Ахмадулиной.

Вот бурная до опустошенности любовь в ее исполнении: «И взрывы щедрые, и легкость, как в белых дребезгах перин. И уж не тягостен мой локоть чувствительной черте перил. Лишь воздух под моею кожей...» Здесь что ни словосочетание – то одноразовая, штучная, «неологическая» метафора. «Щедрый взрыв» – и понятно, о чем, и выразительно до крайности. И «дребезги перин» (это уже через полтора года лет после «содроганий вакханки молодой» пушкинской) – так они белые, естественно, и пух и перья тут летят так – аж звон слышен. Лорд Байрон, это была любовь!!! И после этого ты взлетаешь, вес ушел из тела, ты едина с воздухом, и весь мир прозрачен и пронцаем, как рисунок... Смею предположить, что эти строки – из лучших о любви земной в русской поэзии.

Требуется чертовский вкус и тончайший, абсолютный слух, чтобы изящно сочетать в разовые над-смыслы слова из столь разных стилистических и смысловых гнезд. В этом Ахмадулина не имела себе равных. Да, ранняя, до тридцати в основном... ну, как обычно и бывает у поэтов.

И строк, строф таких у нее было много, много! «Я им – чета. Когда пришла пора, присев на покачнувшиеся нары, я, запрокинув голову, пила, чтобы не пасть до разницы меж нами». Им – это мужчинам. Почему нары, почему покачнувшиеся, это что, про посещение заброшенного лагеря? Нары – это знак барака, тайги, зоны, суровой и скудной, опасной мужской жизни – да ты замучишься разворачивать смыслы и коннотации только этого одного слова! Покачнувшиеся – это от ветхости? Или уже пьяна? Или они перегружены, и так там много всех сидит? Или это головокружение от волнения? Понятно, да? А пила, запрокинув голову – это или из горла, или много залпом, или из лихости и желания доказать, что можешь, – или так самозабвенно, увлеченно, опьяненная этой жизнью, или наоборот – еле уже глотала с непривычки? А вот и то, и другое, и пятое, и как хочешь.

Если ввести условно такую величину, как

коэффициент многозначности поэтического словосочетания,

или

коэффициент мегаметафоричности стиха как усложненной вербальной структуры

– тут Белла Ахатовна Ахмадулина будет номером первым. Вторым – Окуджава.

Да, я слышу, Ахматова низко ценила Ахмадулину. А Анна Ахматова – культовая фигура русской советской поэзии и вообще культуры (хотя сегодня предпочтут, наверное, оборот «русской культуры советского периода»; не суть.) Согласно дневникам Лидии Чуковской, Ахматова вообще шестидесятников не жаловала, и Евтушенко с Вознесенским ей были типа жонглеры, а не поэты. Видите ли, во первых – про Ахматову в другой раз. Во-вторых, насчет обычая поэтов в круг сойдясь, оплевывать друг друга, сказал еще Кедров (чем более всего и помнится сегодня). В-третьих, Ахматова – более фигура судьбы в русской культуре, нежели фигура поэзии (да-да, какой ужас сметь думать подобное): на ней отсвет последней фигуры Серебряного века, и отсвет Николая Гумилева с его поэзией, путешествиями и гибелью в ЧК, и отсвет тюрьмы и лагеря, которые прошел единственный сын, и отсвет жестокой государственной травли и позорного постановления, и она не сломилась, не продалась, не согнулась – она

хранила гордое достоинство в самых тяжких, свинцовых обстоятельствах. Чем являла образец личности, образец поведения. Честь, память, слава. Это буквально герой греческой трагедии.

Но что касается ее стихов, а также ее поэтического и вообще литературного вкуса – простите, но не знаю, как можно узреть в них эталон. Ее поэтический дар представляется мне скромным. Таким неоклассическим традиционализмом. Она не была большой поэт – она была по факту хранитель великой традиции. А это не одно и то же. Вот за судьбу и характер, за то, что через нее сохранилась, не прервалась живая нить, тянущаяся от великой русской поэзии – вот за это только низкий и вечный поклон. А ее поэзия и мнения... Достаточно было того, что она существовала – такая, какая есть. Ценность Ахматовой в этом. А не в ее литературных, вторичных, искусственных стихах. И уж тем паче не во мнениях. Ну, Чехова она не любила. И что.

Но вот то, что разговор о поэзии шестидесятников привел нас к Ахматовой – это символично, да.

Но были ведь и другие поэты, ныне и навсегда практически забытые – или, уж во всяком случае, вышедшие из употребления: Николай Доризо, Степан Щипачев, Николай Грибачев, и вообще Герой Социалистического Труда Егор Исаев. Еще до войны Щипачев написал знаменитое «Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне», в шестидесятые над ним издевались как над образцом совкового назидательного дурновкусия.

Мы о многом не будем говорить: не все, писавшие в 60-е, были шестидесятниками и определили лицо литературы и эпохи, сами понимаете.

А упомянуть необходимо следующее:

В 1959 Борис Слуцкий написал свое сверхзнаменитое: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе». И лет чуть не на десять начался знаменитый спор «физиков и лириков». Водородная бомба, межконтинентальные ракеты и космические корабли создали ореол романтики и значительности физикам – ядерщикам, ракетчикам, теоретикам и экспериментаторам. Это они творят будущее и оберегают мир, одновременно грозя его уничтожить. Они стильно одеваются, говорят на молодежном сленге (ну, из молодых которые, а вообще они почти все молоды, в те времена если физик в тридцать лет еще не доктор наук – значит, малоспособный, не состоялся) – но неделями напролет пропадают в лабораториях и на полигонах, хватают дозы облучения, гибнут на испытаниях, такие сдержанные в выражениях высоких чувств и циники на словах. Виктор из «Звездного билета» Аксенова, Гусев из знаменитого фильма «Девять дней одного года», Евдокимов из «Еще раз про любовь» Эдварда Радзинского – лишь возглавили массовое шествие физиков, а также геологов, инженеров и строителей по страницам новых книг. Они – строили коммунизм «с человеческим лицом», делали нужное народу дело без громких слов – эдакие советские Базаровы, новые советские дети слегка промотавшихся отцов. А болтать, то есть, меньше надо.

Физики уводили у лириков девушек, делали открытия и карьеры, пропадали на секретных объектах и отдавали жизнь в научной борьбе за неизбежное светлое завтра. Против них не устоишь!

А еще был поэт совершенно отдельный – Эдуард Асадов. Из военного поколения, фронтовик, доброволец, ослепший после тяжелого ранения, всю жизнь носил черную полумаску на месте глаз. Асадова критика не считала человеком и в упор отказывала во всем: писал стихи примитивные, пошлые, поверхностно-нравоучительные, и вообще ни разу не поэт. И вы знаете, все это правда. За исключением одного: он был поэт! Несмотря на свою гомеровскую слепоту, несмотря на свою назидательность школьного учителя, несмотря на формальную примитивность своих виршей на уровне графомании. Он был кумиром восьмиклассниц и пэтэушниц, столь же неискушенных в поэзии, сколь тянувшихся к красоте своими трогательно-примитивными душами. И вообще его очень любила масса людей, для которых поэзия – это было слиш-

ком сложно, а вот зарифмованные благие пожелания и добрые нравоучения – в самый раз, в сердце, в яблочко!

«Стихи о рыжей дворняге» исполняли в середине шестидесятых на всех школьных вечерах буквально: «Труп волны снесли под коряги... Старик! Ты не знаешь природы: ведь может тело дворняги, а сердце чистой породы!» А уж «Ночь» девочки просто переписывали, сборников-то тиражами сотысячными достойными-массовыми было не достать, с продавщицами дружили, из-под прилавка покупали, время было такое – «Эх, знать бы ей, чуют душой, что в гордости, может, и сила, что гордость еще ни одной девчонке не повредила. И может, все вышло не так бы, случись эта ночь после свадьбы».

Понимаете, в поэзии шестидесятых Асадов – это был такой наивный и неуклюжий Порто, неотесанная деревенщина с незамутненными представлениями о добре и красоте. Он писал о любви, о верности, о красоте и природе, о долге и мужестве – очень простенько, буквально на уровне звезды районной многотиражки. Но он писал о добре, учил добру и ставил выше всего добро! Аж иногда неловко становилось, просто совесть щемила: такую фигню пишет, такую школьную пропаганду в лоб гонит, ну просто пионервожатый на слете юных тимуровцев – а ведь правду говорит, пацаны, ведь так и есть на самом деле: мы вот ржем, а он правда верит во все хорошее, он хочет, чтоб жизнь была такая, чтоб люди хорошими были, он за это глаза на войне потерял... Как же можно его ругать-то.

...Вот разговор уже к концу – а деревенщики, почвенники, народники, земельщики – они-то где, про них-то что? Василий Белов, Валентин Распутин, Федор Абрамов, Виль Липатов, Виктор Астафьев, наконец! Это было иное течение, как бы параллельное новой, городской, молодежной, иронической прозе – параллельное, не пересекающееся, оппозиционное ей, принципиально другое. Они недолюбливали город с его циничным потребительством и моральным растлением, отходом от народных корней. Они воспевали деревню, традицию, исконные формы народной духовности, они выступали хранителями крестьянской традиции, корня народного – прямо или косвенно, вольно или невольно противопоставляя себя ироникам-молодежникам-горожанам. Короче – это была тогдашняя советская форма борьбы славнофилов и западников.

Деревенщики были традиционны по взглядам, пристрастиям – и по форме. Критический реализм с включением реализма социалистического. Они писали добротную традиционную прозу и исповедовали традиционные добродетели: трудолюбие, порядочность, честность, верность. Терпеть не могли никаких формальных изысков – хотя Виктор Астафьев, скажем, в знаменитой некогда «Царь-рыбе» каждую фразу старается подвывернуть так, чтоб было не вовсе обычно, не стандартно: вода у него летит из-под винта не брызгами, а «комьями» и т. п. Они любили упираться в языке на диалектизмы, архаизмы или вовсе неологизмы сами изобретали – чтоб язык казался понароднее, отличался от обычного литературного, «городского» в сторону самобытности, исконности, так сказать. При всем уважении к этим достойным людям и писателям так и тянет вспомнить незабвенное «Понюхал старик Ромуальдыч свою онучу и ажно заколдобился». «Сермяжная, она же посконная, домотканая и кондовая, – задумчиво сказал Остап. – Короче, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность, студент?»

(Кстати – вот с юмором и иронией у них было туго. Не имели они такого качества. Были основательны, серьезны, тяжеловесны, позитивны. А юмор – это способность видеть предмет с разных сторон. Они видели предмет только с одной стороны – своей, главной, народной, правильной. И не над чем смеяться, товарищи!..)

И хотя тот же Липатов начинал в том же конце 50-х печататься в той же «Юности» – эти ребята имели к золотым шестидесятым совсем не то отношение, нежели шестидесятники. «Привычное дело» и «Плотнические рассказы» Белова, «Братья и сестры» и «Две зимы и три лета» Абрамова – понимаете, это ведь хорошая литература. Но. Она – это правда о прошлом, тяжелая, горькая правда о прошлом и настоящем, и в то же время – ну, воспевание дурацкое

и заслонявленное слово, но – утверждение лада этой исконной народной жизни, к который не надо мешаться ничему насильственному и постороннему, который надо беречь, жить им, хранить его. Традиционные ценности и образ жизни народа на земле – это стержень русской истории, народа, государства. Хранить и беречь, ценить, осознавать.

То есть. У нас получается. «Горожане» и «деревенщики». Западники и славянофилы. Это что? Это: новаторы и консерваторы. Модернисты и традиционалисты. Это – что? Это – диалектическая пара. Единство и борьба противоположностей. Одно без другого не может быть. Для существования одного необходимо и наличие другого.

Я что хочу сказать. И очень ведь просто, если понять. Для существования общего тела культуры необходимы два начала: как консервативное – так и новаторское. Как хранить старое, проверенное, верно и надежно послужившее – так и искать и творить новое, современное, прогрессивное, чего еще не было. Шестидесятники и деревенщики – были две неразрывные, необходимые, единые стороны общего процесса литературы. Все их споры и раздразни – да: единство и борьба противоположностей, без чего нельзя.

Но! Недаром у шестидесятников с иронией было все в порядке, а деревенщики аж проседали от серьезности. Юмор, как правило – это качество ума более совершенного, мощного, многостороннего, изощренного. Не то чтобы юморист умнее философа, часто клоун – идиот идиотом. Но юмор не как кривлянье, а как парадокс, как выворачивание ситуации наизнанку – безусловный аспект ума, в общем и целом. Знаете, личные беседы Платона и Аристотеля до нас не дошли, но вот юмор первого и великого из философов – Сократа – стал легендарен при его жизни.

А кроме того: создавать новое и еще не бывшее – тут нужно больше ума и энергии, чтоб цепляться за старое, хранить, повторять уже сто раз бывшее. Более талантливый силою вещей оказывается авантюристичным новатором, менее энергичный – осторожным консерватором.

И последнее: на виду – первооткрыватель, а не комендант базы, пилот, а не теоретик аэродинамики, оратор, а не комендантский взвод. И вообще баран смотрит внимательнее на новые ворота.

Так что яркие и талантливые новаторы-шестидесятники были на виду, шли в авангарде, творили новое – а более грузные и менее интересные деревенщики переживали страшно, что сидят сравнительно в их тени. И искали причины в интригах, связях шестидесятников, в том, что они умеют запудрить мозги власти и та их продвигает, и народу мозги запудрить, и он их читает. А вот деревенщики – подлаживаться не умеют. (Особенно Иван Шевцов с «Тлей» и Всеволод Кочетов с «Чего же ты хочешь» переживали, но это уже не деревенщики, а так, стригущий лишай на честном теле свиного бифштекса.) А дело было все в объективных законах социальной психологии и психологии восприятия текстов, в психологии эстетики, если бы можно было так сказать, правильное, видимо – в психологии восприятия эстетических объектов. Короче – читающей публике они были менее интересны и менее нужны, и хоть ты тресни, насильно мил не будешь. А читающая публика – это прежде всего горожане, люди умственного труда.

И вот Шукшин Василий Макарович, автор таких блестящих рассказов, как «Микроскоп», «Дебил», «Срезал», «Ораторский прием», «Мой зять украл машину дров» и еще полусотни отборных – он был не деревенщик, при всей простонародности материала. Он был выше и сам по себе. Именно энергия и талант тащили его в Москву, в кинематограф, в сценарии и роли, в амурные приключения. В конце концов, даже его роман с Беллой Ахмадулиной с некоторой точки зрения был словно стихийным знаком причастности к мейнстриму шестидесятников. Его-то как раз самые разные люди читали и ценили.

И если мы начинали с «Юности» – закончить необходимо «Новым миром». Но история «Юности» катаевской имела неожиданное завершение в 60-х – катаевский мовизм. Когда старик Валентин Петрович к семидесяти годам вдруг встрепенулся, послал всех и все на фиг

и стал писать книги неожиданные, странные: «Маленькая железная дверь в стене», «Святой колодец», «Трава забвения». Это были бессюжетно-бескомпозиционные романы-воспоминания, романы-ассоциации, романы-монологи о прошедшей эпохе и ее людях – глазами автора, жизнь всех как вещество его жизни. Это был ностальгический снаружи и бешеный внутри протест против проклятого и осточертевшего реализма вообще, а особенно социалистического реализма в частности. Это читалось – как пилося залпом, не остановиться; это вызвало удивление, даже недоверие: надо же, как советский старик Катаев здорово, неожиданно, свободно писать стал!..

Однако «Новый мир»... Твардовский Александр Трифонович был великим главным редактором. А его пьянство горькое и горестное было неизбежной реакцией на «Страну Муравью» и ордена, а семья-то его была раскулачена и сослана, и цена его сотрудничества с советской властью была вот такая. Он публиковал вещи суровые, именно что прозаичные, с гражданским публицистическим оттенком... зарядом?... ну, в общем, «нетленку», как они ее называли, они в «Новом мире» заворачивали и высмеивали. «Новый мир» был не просто флагманом толстых журналов, как принято было говорить – он был одновременно и авангардом возможного к публикации, и барометром политической погоды, и неким эталоном «достойной» литературы, и высшим знаком качества опубликованной вещи.

Среди многого «Новый мир» печатал мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» – самые знаменитые и читаемые мемуары во всей советской литературе. О, он был выездной! он провел молодость в Париже!.. Он вспоминал о Цветаевой и Мандельштаме, выпивках с Модильяни и фронтовых поездках с Хемингуэем в Испании!.. Эти мемуары тоже были одним из знаков эпохи...

...А ведь мы даже не коснулись драматургии. Михаил Шатров (Маршак) с его «Шестым июля» и «Большевиками» – попыткой очистить и реанимировать идею коммунизма и революции «с человеческим лицом». Александр Володин – «Пять вечеров», «Моя старшая сестра». «Традиционный сбор» Виктора Розова... Игнатий Дворецкий, Эдвард Радзинский – большие были имена, новые пьесы шли в театрах по всей стране и делали аншлаги, это не было время поголовной заикленности на классике с режиссерскими вывертами – живой процесс шел в театре, проблемы сегодняшние ставились.

А советская фантастика – это тоже отдельная тема, а без нее литературы шестидесятых не было. Сейчас-то уже не понять, чем были романы Ефремова Ивана Антоновича. «Туманность Андромеды» – это же было как открытие нового течения! Коммунистическая утопия – так называлась эта именно что научная фантастика. Раз марксизм-ленинизм наука, раз приход мирового коммунизма научно неизбежен, раз человек будущего будет гармонично развитым коммунистом-альтруистом-созидателем, раз Циолковский научно предрек, что человечество не останется вечно на Земле, но выйдет в Космос и будет его покорять – так и получите наше светлое и гармоничное завтра. «Сердце змеи», «Лезвие бритвы», «Час быка» – это литература списьфисская. Мягкие намеки на конфликт отличного с идеальным. Все красивы, мудры и физически совершенны. Благородны и уравновешенны. Без юмора – он ущербен, подхихики человеку будущего чужды. Сейчас это невозможно читать и незачем – хотя фанаты фантастики умудряются. Все в елее, в благолепии, в совершенстве. Плюс легкая эротомания под флером эстетики: характеризуем с точки зрения природной целесообразности телесную красоту женщин. Подробно. Ну, хоть это забавляет и оживляет. Но тогда, повторяю – это шло за чистую монету, за идеологически выверенное будущее в литературе, за необычные и романтические картины светлого завтра.

И братья Стругацкие, Аркадий и Борис Натановичи стодевяностосантиметровые, гиганты среди пузатой литературной мелочи. Эти владели даром редкостным. Легкое перо, чистый язык, необыкновенной и абсолютно ненавязчивой смачности обороты. Развлекательный сюжет – и мудрая серьезная основа. Строго говоря – они писали про здесь и сейчас, про везде

и всегда – в слегка условной фантастической форме. Эта форма, это иносказание, эта якобы внешне формальная отвлеченность – позволяли им обходить цензурные рогатки, обманывать запреты, говорить то, что было невозможно в сугубо реалистической форме. «Попытка к бегству», «Хищные вещи века», «Второе нашествие марсиан», «Трудно быть богом» – это ведь и невозможность сбежать из колымского концлагеря СССР, и неизбежность грядущей политической реакции, и проречение наступающего века потребительства и наркомании всех видов при утрате смысла жизни сытой цивилизацией – о, у них было много всего, их недаром читала вся интеллигенция, недаром читают и цитируют посегодняя.

Слушайте, закончить невозможно! Трогаешь этот пласт – шестидесятые – и на тебя обрушивается золотая гора! Это был истинно Золотой Век русской литературы, Поэзии прежде всего, но не только.

На авансцену выходит Валентин Пикуль, вернувший советскому читателю интерес к истории, ему неведомой, замолчанной, запретной, излагаемой редко и невыносимо скучно и официозно. «Баязет», «На задворках Великой империи», скоро выйдет его шедевр «Пером и шпагой», слава и ругань – как полагается! Он пишет жестко, четко, броско, он крутит факты как хочет – а Дюма вам не историк, но историю-то вы начинаете познавать с Дюма, начинаете ею интересоваться с «Трех мушкетеров», если вообще начинаете.

«Семнадцать мгновений весны» публикует Юлиан Семенов – серьезные люди им пренебрегают, политдетективщик, пригэбэшный журналист – а книга-то отличная! Язык чист, взгляд на предмет неожиданен и оригинален, патриотизм без малейшего пафоса – и масса аллюзий литературных, политических, общекультурных, только всмотрись чуть внимательнее. Книга мудрая, печальная, добрая и честная в том смысле, что врагам тоже воздается должное человеческое, впервые враги не карикатуры, не выродки ненормальные. Вскоре будет сериал – и без него эпоху уже и представить невозможно. А это мало о чем сказать можно...

...Кончать все-таки надо, сказал генерал и застрелился.

Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ». Писался в 1958–1968. Первое издание – 1973, Париж. Когда стали ходить первые машинописные копии – знать не могу. Полуслепой экземпляр на папиросной бумаге мне дали на сутки, и сутки я читал. И неделю ходил и шатался с одним чувством: «Нельзя же так. Нельзя же так с людьми. Нельзя же так». По моему разумению, Солженицын никогда не был хорошим беллетристом, и его художественная проза по большому счету ничего не стоит. И ума был не слишком большого, и образованности очень ограниченной, и самомнения непомерного, как фургон для мыши. Но вещь он совершил в литературе великую – «Архипелаг ГУЛАГ». Это скала в нашей литературе и культуре, это утес, это эпохально. Это не беллетристика – это публицистика. Так а кто сказал, что литература – это только беллетристика? И дневники, и мемуары, и путешествия, и документалистика, и научпоп – это все литература. Вот Солженицын «Архипелагом» сделал колоссальное дело в литературе и в жизни. Он раскачал сознание, он качнул гигантское и страшное государство, он в одиночку написал страшный кусок истории, фальсифицированной и замолчанной официальными «историками». Это было явление знаковое.

А публикаций сколько было в шестидесятые – из сундуков, углов, столов, и публицистика, и мемуары (хоть Вертинского), и «Мастер и Маргарита», в конце концов. Потом-то прикрутили.

Ну, и в качестве заключительного раздела юмора – немного о политике. Потому что без нее нельзя. Она рулила за «красным забором».

1962 – это был пик оттепели, «Один день Ивана Денисовича» солженицынского все в «Новом мире» читали. Но и! Где пик – там и перелом! В декабре 1962 Хрущев встретился с творческой интеллигенцией и научил ее жизни и творчеству. Каждый гость получил партийный совет, и по врожденному скотству ни один не утопился в сортире. Им все как горох об стену. Это Хрущев недавно посетил выставку авангардистов, наорал на мазил, все пидарасы,

мы вас научим. И учил! Евтушенко и Вознесенского он поучил писать стихи, Солженицына поучил писать прозу, Виктора Некрасова – путевые дневники. А Эрнста Неизвестного поучил лепить скульптуры. Но что характерно: всем дали по мозгам – но никого не расстреляли, не посадили, не выслали, и даже печатать не перестали! Ну – иногда ущемляли в выступлениях или заграничных поездках, так это же вегетарианство!

А вот Андрея Синявского и Юрия Даниэля не печатали, и они публиковались на Западе, под псевдонимами, передавали тайно свои произведения. И то сказать – в самой известной повести Даниэля «Говорит Москва» правительство СССР вводит «по просьбам трудящихся»... день открытых убийств! Праздник такой всесоюзный. Ну, можете себе представить. Короче – поймали, судили, посадили: Синявскому семь лет лагерей, Даниэлю пять. 65-й год. За литературу! Но – не соответствовала, мимо советской цензуры, и не туда звала, не то подрывала. Газеты писали и клеймили, широкая была кампания. Так что не все было слава богу, не все под фанфары, не все коту торжок, бывало мордой об порог. Чтоб шестидесятые медом-то не казались.

Последний штрих – нобелевский лауреат Иосиф Бродский. У нас вообще с нобелевскими лауреатами одни хлопоты. То безгражданственный антисоветчик Бунин, то отщепенец Пастернак, то русофобка вот только что Алексиевич, один Шолохов Михаил как-то уравнивает этих негодяев, так и то был человек сильно сомнительных моральных качеств. То есть качества как раз были несомненными, но не туда, куда мечталось бы. Ну, и антисоветчик Бродский.

До суда, до 1964 года, Бродский был известен в очень узком кругу. Поэты ленинградского андеграунда и примыкающая богема-тусовка. Без публикаций (мелочи типа в детском журнале «Костер» не считается). Стихи не политические, ничего такого конкретного не выражают, ну, был раз мелкий тихий скандал на «турнире поэтов» в ленинградском ДК Горького: «Еврейское кладбище» читал Бродский, ну тема очень не приветствуемая.

Здесь надо понимать, что в 1961 году приняли закон о борьбе с тунеядцами. Но формулировки были расплывчатыми. И. Вернувшись из отпуска в сентябре 1963, Хрущев наорал на идеолога Суслова, почему не высланы и не сосланы все тунеядцы – где процессы? Где реакция здоровых трудящихся? А сразу – устроил втык секретарям обкомов: где тунеядцы?! И чтоб слышно было! А первым секретарем Ленинградского обкома КПСС служил товарищ Толстиков. Креатура Хрущева!.. Толстиков собрал партактив с УВД и велел организовать тунеядцев, причем минимум одного резонансного. Редакторам ленинградских газет, областной то есть номенклатуре, велели: ну-ка тунеядца быстренько! Бу-зделано. Глянули картотеку, свистнули стукачам. И набросили аркан на безопасного и беззащитного, анкетно правильного Бродского. Еврей. Картавый. Хилый. Пишет стихи – а его не печатают! И стихи неясно о чем. Неблагонадежен то есть! И постоянно на работе нигде не оформлен.

Строго говоря, Бродского назначили козлом отпущения. Для отчета и примера. Пропустили через тюрьму и психушку и ввели пять лет ссылки и принудтуду в архангельской деревне, но вернули через полтора, в 1965. Согласно стойкому и известному апокрифу, Анна Ахматова прокомментировала: «Они делают нашему Рыжему биографию». Выполосканное газетами имя стало известным.

Году в 66-м самым известным стихотворением в Ленинграде были «Пилигримы»: «Мимо ристалищ и капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо шумных базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы». Его перепечатывали и переписывали, читали на пьянках при свече и охмуря девушек на прогулке. И «Рождественский романс», и многие другие стихи Бродского, написанные до 30, его ленинградского периода – безусловно лучшие, и почти все шедевры – среди них. Из поздних блестяще лишь «Представление» с его ну неотразимым же «лучший вид на этот город – если сесть в бомбардировщик». Поэтические экзерсисы американского периода – это отдельный

разговор... Так же как отношения Бродского и Евтушенко, ну и кое-что другое. Ну, для этого есть отдельные специалисты по Бродскому.

Так вот, следствие по делу Бродского – и: заседание Ленинградской организации Союза писателей СССР единогласно ходатайствовало перед прокурором о возбуждении уголовного дела против тунеядца Бродского с учетом его антисоветских высказываний. Подпись секретаря писательской организации: Даниил Гранин. Через полгода – заседание: единогласно осудить членов СП, защищавших тунеядца Бродского. Гранин.

Проходит время, хоронят в Венеции американского гражданина, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского, а время идет дальше, и старик Гранин получает специальный приз «Большой Книги» с формулировкой: «За честь и достоинство» (!..)

...Это я к тому, что живой литературный мир 60-х (как и любой другой) выглядел не так, как его стали изображать позднее – в меру собственных пристрастий и представлений, в меру своего знания и забывчивости. И конечно Евтушенко и Аксенов были гигантами, а деревенщики были вторым рядом, подкрепленным официальным аппаратом, а Эренбург был старым мэтром, а Бродский редко проблескивающим маргиналом, а Стругацкие заставляли задумываться о странном, а Окуджаву все пели (хотя авторская песня – это тоже совсем отдельная тема).

Мы – те, кто живьем пожили взрослыми в этом времени, вобрав его, из него родом – Витя Ерофеев, Женя Попов, Саша Кабаков и ваш покорный слуга – уже старики. И как сказочные награды судьбы, сам себе не совсем веря, я вспоминаю – я вспоминаю, я помню, память у меня есть: я ходил в семинар Бориса Стругацкого, и сидел рядом, и курил с ним, и пил с ним вдвоем кофе на его кухне, а с Аркадием дважды, дважды ведь имел честь редкую выпивать вдвоем – раз пиво, раз коньяк, «с самим господином старшим бронемастером», и Борис писал мне рекомендацию в Союз писателей в те далекие советские времена. А вторую дал Окуджава, с которым я виделся лишь раз в жизни, неловко пытаюсь пропустить его в двери впереди себя, в редакции «Дружбы народов» это было, а потом я послал ему свой первый сборник по адресу из писательского справочника, и вдруг он ответил, и вот таким образом. Это Виктор Астафьев написал мне, нищему и непечатающемуся, три страницы отзыва от руки на двойных клетчатых листах, в ответ на посланную рукопись «Коня на один перегон». Это с Аксеновым, с Василием Аксеновым я сидел за одним столом, и был в одних домах, и он пригласил меня на свой юбилей в Казань, и мы чокались и пили, и я говорил ему Вася и ты, потому что он так сказал, о дружбе, обнимались при встречах, а я все не мог внутри себя в памяти своей мальчишеской до него подняться, привыкнуть, что прошло тридцать и сорок лет с тех пор, как я, школьник, читал его, всесоюзную звезду, в «Юности» и запоминал фразы на всю жизнь. Это с Толей Гладилиным мы гуляли по Москве и Казани, и тоже ты, и двойственная нереальность: вот братское равенство – а вот я школьник, и читаю его, потом «Евангелие от Робеспьера» меня перепахивает, а он жалуется, что не может обедать два раза, он и один не может, он дома в Париже гуляет по несколько часов и ест очень мало. Это Евтушенко (Ев-ту-шен-ко!) говорит мне так запросто: называйте меня просто Женя, а я вас Миша, идет? И я кажусь себе сейчас хвастающимся, неуверенным в себе мальчиком, потому что зеркало с отражением отстоит слишком далеко во времени – в тех шестидесятих, которые мы сегодня вспоминали. И все это было не из книжек, не из рассказов, а живьем – я жил в этом запахе, звуке и цвете, ну, и вот попытался донести то, что мог.

Братья Стругацкие на фоне конца света

Чтоб понять что-то в литературе – надо истоки проследить, поднять и понять связи, откуда что: видеть поле. А добросовестно роя все причины и связи, приходишь к необходимости вообще изучить устройство Вселенной и ее эволюцию. А поскольку для литературоведа это трудно, обычно люди тут махнут, выразятся и выпьют. Таким образом, курсы лекций по творческому пути Рэя Брэдбери, Александра Беляева или даже такого гиганта, как Герберт Уэллс, совершенно у нас здесь и сейчас такие вещи неуместны. Уместны! Но невозможны. Даже общий курс по фантастике никак. И обед наш выйдет из крошек со стола. Но мы сделаем так:

Первая часть лекции – это будет такая нано-лекция о фантастике, весь флот в одном блюде. А во второй все-таки мощнейшее, многими и сейчас близко не понятое и не оцененное явление – Аркадий и Борис Стругацкие.

Так вот. Фантастической следует считать любую литературу, где заметную роль играет элемент необычного, фантастического. Так полагали Стругацкие. И это справедливо. Тогда и «Мастер и Маргарита», и «Фауст» – это все фантастика. Протесты есть? Протест отклонен. Мы к этому еще вернемся.

Фантастика – исконный литературный жанр. Как только простое информационное сообщение – «Враг близко!», «Пора на охоту!», «Скоро дождь» – усложнилось, распространилось, поднялось над разовым буквализмом – появилась фантастика как литература и философия в одном флаконе. Мифология – это фантастика как рассказ об устройстве мира и истории народов.

«Илиада» – это не только отчет о военной экспедиции. Это художественное раскрашивание военно-патриотического репортажа, чтоб сильнее впечатлял. Привирает журналист-поэт, приукрашивает, присочиняет. И вводит богов как причину и объяснение действий. Реализм? Есть много реалистических деталей и сцен. Но и фантастики хватает. Как боевой отчет – это материал для дурдома или военно-полевого дознания. А «Одиссея» как путевой дневник? Бред пьяного бродяги. Зато какой праздник чудес и приключений! А людям надо что? Чтоб дух захватывало!..

И «Золотой осел» Апулея фантастика. Задолго до «Острова доктора Моро».

И все сказки – это фантастическая литература донаучной эпохи, по каковой причине эту литературу никак нельзя назвать «научно-фантастической», а просто фантастической. Вместо науки выступают магия, колдовство, даже священные формулы и заклинания, вызывающие всемогущих духов – боевых и служебных роботов дотехнической эпохи.

То есть. Уровень научно-технической информации был совсем другой, разумеется. Но художественная модель, конструкция, структура – абсолютно та же самая! В ткань повествования вводился вымышленный, условный, нереалистический элемент, который являлся принципиальной опорой композиции и сюжета, который определял все построение, обуславливал действие произведения. Появляется нечто, что позволяет преодолеть препятствия и добиться трудной цели. Или иначе: автор дает неожиданную вводную, обеспечивает этим нештатную ситуацию – и герой должен выкручиваться необыкновенно.

И все средневековые драконы, колдуньи и сверхбогатыри, любовные и целебные снадобы – это все фантастика. И Валгалла с Одином, и Нибелунги – все фантастика.

Ибо литература – должна возвышаться над обыденностью, литература отнюдь не просто транслирует окружающую информацию адресату. Ей имманентно свойственно поражать воображение, давать идеал поведения, расширять границы познания, вселять веру в человеческие силы и возможности, манить в неведомое!..

Что есть характернейшее отличие фантастики от не-фантастики? Что в ней – автор придумывает все, что только может придумать, изобретает любые ситуации, любых существ, которых только может измыслить, изобрести. Из этого следует – что? Что фантастика – авангард литературы, острое литературного прогресса, лаборатория небывалых объектно-семантических конструкций! Ибо человек по устройству своему придумывает все возможное и невозможное.

И тогда следует интересный вывод – только никому не падать:

Реализм – это частный случай моделирования всевозможных ситуаций, совпадающий с изображением жизни именно и только в формах жизни. Буквально. Ну, типа как состояние покоя – это частный случай равномерного прямолинейного движения.

Фантастика полнее и мощнее реализма – тем, что в ней может (и должно, у приличного писателя) быть все, что есть в реализме – плюс то, чего в реализме нет. (Ну – это в принципе, теоретически, сами понимаете. Большинство фантастов убогие графоманы – как и большинство реалистов, которые не в состоянии изобрести даже штопор.)

Что такое «Город Солнца» Кампанеллы? Что такое «Утопия» сэра Томаса Мора? Фантастика чистой воды, леди и джентльмены! Во-первых, все происходит в вымышленной стране, во-вторых там происходит то, чего нет, а только мечталось бы. Так это – что? Социальная фантастика со служебным элементом фантастики географической, путешественнической. И это – великая литература и знаковая философия, это социология и политология, весьма опередившие свое время – на века. Через века посеянные ими семена прорастут – и прекрасными цветами, и зубами дракона, и они будут вести кровавые войны друг с другом. Вот что такое фантастика.

А кто только ни летал на Луну! Сирано де Бержерак в XVII веке, барон Мюнхгаузен в XVIII, а уж Жюль Верн в XIX отправил троих астронавтов на Луну так, что после возвращения на Землю первого американского лунника в 1969 году мир рот разинул: точки старта и приземления с точностью до сорока миль, размеры снаряда (корабля) с точностью до полутора футов, вес с точностью до центнера, время полета – отличалось на пять часов, численность экипажа – трое: предсказал Жюль Верн сто лет назад!!! Плохой писатель? Беллетрист плохой – а писатель гениальный: литературная форма, наивная эстетика – это еще не все.

Великая эпоха Просвещения вселила веру во всемогущество человеческого разума – хотя в то же время гениальный Гофман писал блестящую фантастику, э-э... социально-психологически-магическую, если можно столь неуклюже и примерно выразиться. Короче, фантастика как выходящая за флажки философская метафора, а не как научный проект или прогноз.

А вот великий XIX век создал именно что научную фантастику, полностью и навсегда. И если Эдгар По и его ровесник Николай Гоголь создали фантастику метафорически-магическую, жуткие чудеса у одного и другого – то... Видите ли, XIX век как самая великая в истории научно-техническая революция начался ведь в 1782 году с изобретения Уаттом паровой машины двойного действия (она – современник Американской независимости и Французской революции) – и закончился в 1914 Великой войной, где были уже автомобили, поезда, радио и телефон, авиация и отравляющие газы, пулеметы и танки, конвейер и электричество. Всемогущество человеческого разума и перегрев цивилизации привели к кризису.

Провидели его писатели-реалисты? Ни хрена они не провидели. Они писали о всемогуществе разума, победе гуманизма и светлом будущем, если о нем задумывались. Головокружение от успехов. Антисептика, прививки, бесплатное общее образование, все права женщинам, окультуривание дикарей – о, то было время великого оптимизма!... Достоевский? Кьеркегор? Ну, бывают люди с врожденной депрессией.

И вот в последней трети этого века малоуспешный французский беллетрист Жюль Верн начинает серию книг для внеклассного чтения по географии. В условной форме увлекательных авантюрно-приключенческих романов. На театре всех природно-климатических зон Земли. А

чего не знает про Северный Полюс (еще не открытый) или еще чего – про то творчески фантазирует. Успех! И Жюль Верн начинает домысливать про что ни попадя: подводные лодки, водолазные скафандры, летающие корабли, сверхгигантские суда и пушки и так далее. И со временем многое сбылось! Ибо: он имел дар правильно сочетать и оценивать данные современной науки и техники, чтобы вынюхать, интуитивно определить основное направление развития в какой-то области и воплотить конкретный результат в зримом предмете, обрести деталями, описать внешне и в действии.

С точки зрения беллетристики его романы не то чтобы ужасны – они просто стоят вне литературы. Примитивный язык, условно-плакатные характеры из одной главной черты, психология детской байки, бредовая мотивация: а вот сделали так, потому что захотелось, редко иначе. А книги – полтора века живут, читаются, экранизируются! Значит – литература?!

Значит, Жюль Верн есть главный родоначальник именно научной фантастики, вернее – научно-технической. Ибо всегда подбивает именно научные основания под все свои необыкновенные изобретения. Просто главный инноватор в классической литературе.

А вот Герберт Уэллс – это уже гений. Человек странный, удивительный, великий. Пророк. Ему мало частного изобретения в нашей жизни, хоть бы и у завоевателя. У него изобретения меняют весь мир. Один доворот фантастики – и весь мир смещается, как в калейдоскопе. «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» прежде всего – это реальный мир, который реалистически реагирует на фантастическую вводную. Мир показывается как необычный сколок, под необычным ракурсом. (Недаром это время импрессионизма и постимпрессионизма в живописи, приход авангардизма и кубизма).

То есть отличие Герберта Уэллса: фантастическая вводная во-первых научно мотивирована и обоснована; – во-вторых она является причиной и основой всего действия, центром всех событий; – и в-третьих вся психология людей, их отношения личные, служебные и общественные, их житейские заботы и рабочие обязанности написаны с полной достоверностью и в совершенно добротном таком реалистическом ключе.

У него под сотню рассказов, каждый из которых может быть основой фантастического романа или фильма. И пожирающие людей пауки, и жуткий ураган на остановившей вращение Земле, и ставший невесомым человек, и так далее.

Нельзя сказать, что Уэллс – писатель стилистической силы Диккенса или Гюго. Нет, просто писатель. Без дурновкусия и претензий, язык прост, индивидуализацией прямой речи и иронией владеет, читать можно нормально.

Но!!! В 1913 году Герберт Уэллс издает роман «Освобожденный мир», где описывает атомные бомбардировки войны 1959 года! Резерфорд еще скептически хмыкал при словах об использовании ядерной энергии, Лео Сциларду еще 20 лет оставалось до идеи цепной реакции, а Уэллс уже бомбил и сжег 200 городов материка (как будет в 1959 на штабных картах военно-ядерного варианта...).

В русской литературе основателем жанра научной фантастики является Фаддей Булгарин, есть у него несколько вещей. В советской – блестящая классика Алексея Толстого: «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина». Работал до войны очень ценный Александр Беляев.

Потом гайки у нас прикрутили. Никакой фантастики! Хрен их знает, хитрозадых писменников, что они имеют в виду в своих баснях про другие, якобы, планеты.

И только после XX Съезда – среди прочего разрешили и фантастику. Ну, не совсем всю, Оруэлл был всегда в СССР под запретом, но в основном разрешили. Издали множество бумажных книг в издательстве «Мир», издали 25-томник зарубежной фантастики в «Молодой гвардии». Мудрец и тонкий стилист Брэдбери, Шекли с безумными шутками, Азимов с законами роботики, Гаррисон со смачными фантастическими боевиками, и так далее и так далее. Лема стали издавать – мыслителя, футуролога, отчасти даже новатора-постмодерниста.

А реанимация родной фантастики – о, это песня и сага! Сколько было всего! Беляева всего переиздали: «Ариэль», «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля», «Продавец воздуха»... – все, все! Александр Казанцев с его «Арктическим мостом», Владимир Немцов – о, меня когда-то его книгой «Осколок солнца» наградили за окончание какого-то класса, пятого, наверно. Немцов – это картина: львиное лицо, бальзаковская грива, бархатный шитый (не купить таких было) пиджак, галстук-бант, так он еще мог трость взять. Мэтр! Писал чудовищно. Фантаст Генрих Альтов, а на самом деле автор ТРИЗа – Теории решения изобретательских задач Генрих Альтшулер, знаменитый был человек, составил когда-то «регистр Алтова» – типа перечень-каталог всех фантастических приемов и ходов. Но писал не очень. Но человек редкостный, заводной, умница. Так ему мало было вести при Дворце пионеров всесоюзный семинар юных фантастов, школьников то есть. Они там учинили приз «Хрустальная калоша» – за худшую книгу года. Позвали гостей, писателей. И вручили «Калошу» гордому эффектному Немцову. На его лице была мечта гестапо загнать всех умных детей в газовую камеру. И не успокоился, обивал пороги и писал докладные, пока семинар не закрыли навсегда.

А глыбой советской фантастики, матерым человечеством, рядом с которым поставить некого, был Иван Антонович Ефремов. И главной научно-фантастической книгой эпохи была «Туманность Андромеды». Люди коммунистического будущего были накачаны стремлением познавать, открывать, создавать и утверждать по самое не могу, и все это с невероятным благородством. Печатали это даже в «Пионерской правде», «Комсомольской правде», «Технике молодежи», разве что на обоях не печатали. Эрг Ноор, Дар Ветер, Мвен Мас, Рен Боз – имена до сих пор помню, какие-то детско-бандитские клички из театральной постановки в приюте для дефективных. Пародии на эту книгу писали, но такие не злобные: Дур Шлаг, Кар Низ, очень-очень хорошие люди...

В тени этой «Туманности...», как под дружественно-ядерным зонтиком, и распускалась советская фантастика 60-х. Неизбежность коммунистического будущего не обсуждалась. Гармоничность и благородное интеллектуальное трудолюбие человека будущего не обсуждалось. Преступность в будущем не мыслилась. Бытовые конфликты тоже – все мудрые альтруисты. В комплект к этим книжкам следовало прилагать лимон – чтобы уравновесить подташнивание от фальшивой слащавости светлого будущего.

И вот сейчас в заключение вводной части мы попробуем подбить бабки, уже можно: так чем же все-таки фантастика отличается от просто литературы?

Во-первых, необходимо различать фантастику как жанр и фантастику как прием.

Жанр обрел (в то время) собственную атрибутику: прежде всего космические корабли и путешествия. А также всевозможные технические приспособления будущего: беспилотные автомобили, радиобраслеты, роботы для всех нужд жизни и так далее. Этим сразу отличалась, выделялась и определялась фантастика. Понятно, что подавляющее большинство этих книг были полная лабуда. Но – по ним составлялась репутация жанра. Репутация суб-литературы.

А вот фантастика как прием может быть хоть у Булгакова, хоть у Оруэлла, хоть у Гоголя – и ничего. Потому что там: а) высокое общее качество текста; б) нет космических кораблей и прочего, конкретно роднящего с миром ржавых звездолетов и идеальных идиотов.

Во-вторых:

У «чистого» фантаста вычлени из книги весь элемент фантастики – и останется серый, заурадный, непримечательный, никому не нужный текст. То есть: он вылезает только за счет именно фантастической атрибутики. И до большой литературы явно не дотягивает. Фантастика у него не является обязательной для постижения сложности жизни и психологии героев – то же самое можно было передать и реалистическими средствами.

А вот если книга хорошо написана, и с мыслями там все в порядке, а элемент фантастического несет нагрузку двигателя сюжета, композиционного каркаса, выполняет роль телесъемки с неожиданных, в реальности невозможных ракурсов и тем дает картину новую, необычную,

заставляющую задуматься и увидеть невиданное, понять непонятое – тогда это та самая большая литература.

«Путешествия Гулливера» – это большая литература; фантастика. И «Франкенштейн» фантастика, причем часто классифицируется именно как начало фантастики научной – а ведь символ, философская притча получилась, уже двести лет ее экранизируют и читают.

Вот «актер» было званием низким и сословием подлым, их с черного хода пускали, за оградами кладбищ хоронили. А теперь фанат к нему и не пробьется за автографом: слава, богатство, элита общества, кто талант и пробился. «Клоун» – это кривляка, плебс на ярмарках потешал. Я бы за великую честь почел Леониду Енгибарову лично поклониться, нет его давно; а Славу Полунина, кажется, никто не думает презирать, да?

Видите ли, граждане. Этикетки существуют для идиотов и снобов. Которые сами ничего оценить не могут – и гордятся тем, что имеют мнение своей тусовки. Состоящей из таких же идиотов, только более авторитетных. (Правда, этикетки еще для школьников и студентов – но это от необходимости дать общий кругозор, попытаться приподнять на апробированный культурный уровень.)

И если читаешь книгу – а она написана хорошо, и мысли в ней мощные, и характеры запоминаются на всю жизнь – это литература. А если скучно, затянуто, серо, коряво – это не литература, что бы ни говорили о ней любые тусовки, от пивняка до Академии Наук. У нас и Брежнев был литературой, и Бродский был литературным трутнем, и Турсун-заде выдающимся классиком.

И даже если говорить об «ах-звездолетах» – «Уснувший в Армагеддоне» Брэдбери – это гениальный рассказ. И «Калейдоскоп». И «Вельд». И «Урочный час». Перечитайте, кто забыл, они короткие – да никто уже в его время в Америке не умел писать такие рассказы! Бирс, Лондон, О. Генри, Андерсон, – все уже умерли, Хемингуэй замолк, а новых не появилось до сих пор. Это великая философская литература, мудрые и добрые притчи, страшные и точные пророчества – гениальный Рэй Брэдбери. И писал ведь блестяще!.. «И слепой нищий, протянувший руку за звездами, развернулся на огненном веере и убрался восвояси».

Это была когда-то «Большая тройка – мировая слава, огромные тиражи, толпы поклонников: Брэдбери, Лем, Стругацкие. (Кстати, советские писатели и литчиновники ненавидели Стругацких еще и за то, что они были у нас на первом месте по переводам и тиражам в мире – с огромным отрывом от всех прочих.)

...И вот началось все вполне тихо. Два интеллигентных образованных брата, старший референт-переводчик с японского, младший звездный астроном, решили написать научно-фантастическую повесть. У старшего уже был опыт: и несколько рассказов, и несколько литературных переводов с японского, а главное – «Юность» напечатала его (с соавтором) «анти-милитаристско-антиамериканскую» повесть «Пепел Бикини» – последствия испытаний атомной бомбы в Тихом океане в 46-м году: японские рыбаки на шхуне от лучевой гибнут и тому подобное. Весьма советско-пропагандистское произведение, честно говоря: про ужасы западного бездушия и военной черствости, ну и страдания простых жертв.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.